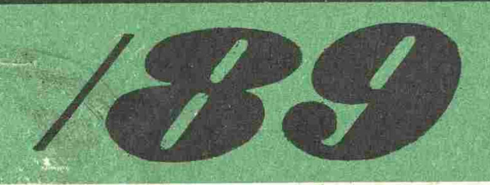
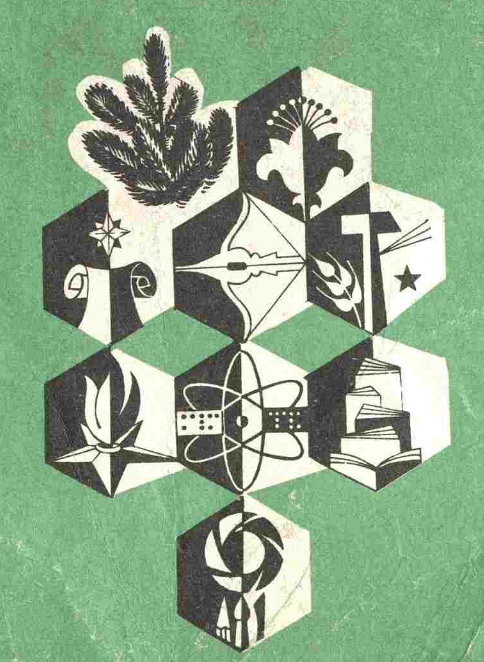
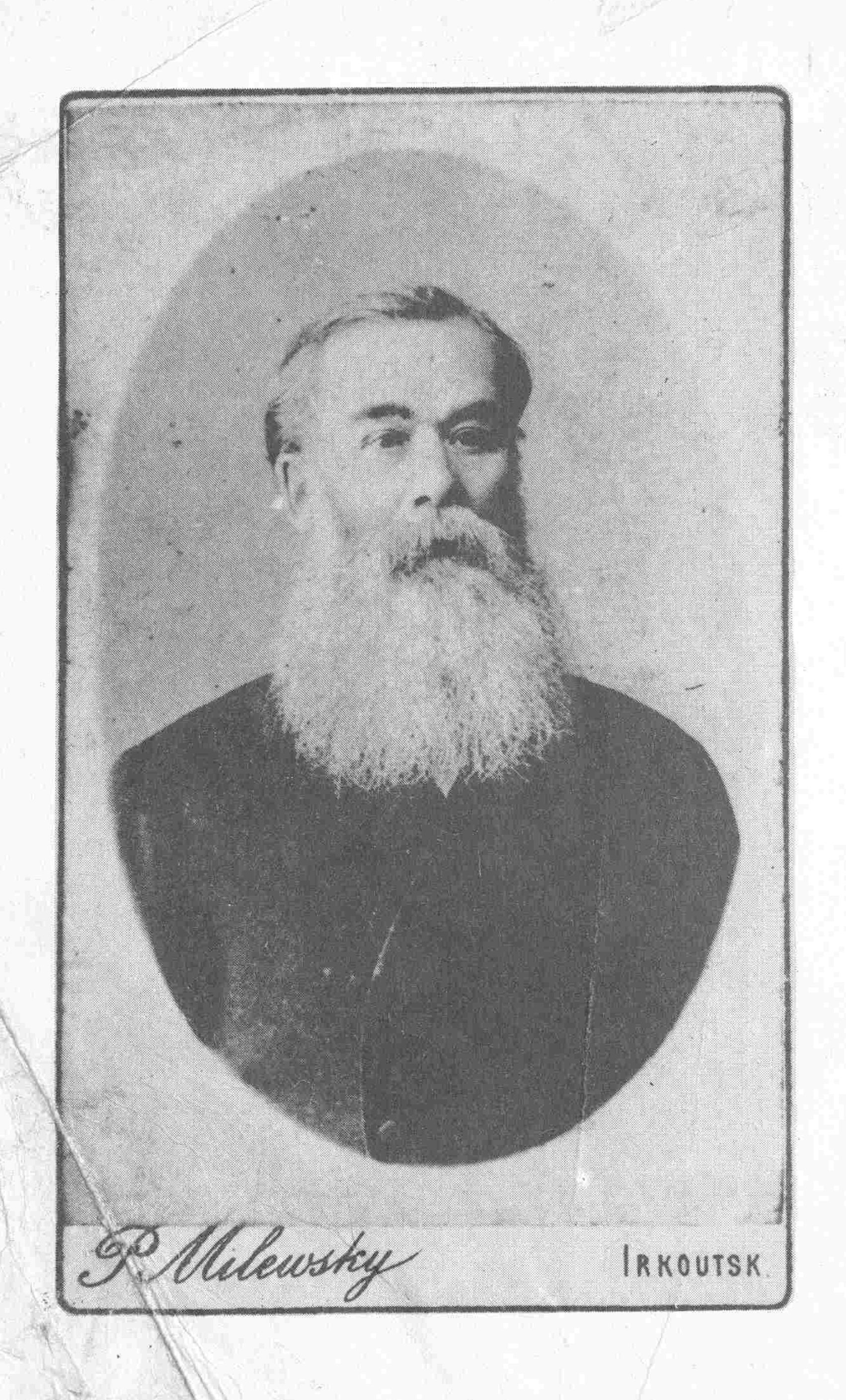




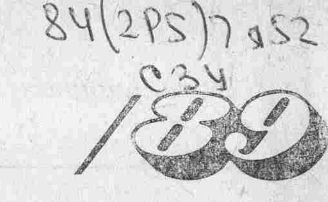
/89 3
МАЙ, ИЮНЬ





Н. Ветринский, г. Иркутск, 1880—1890 гг.







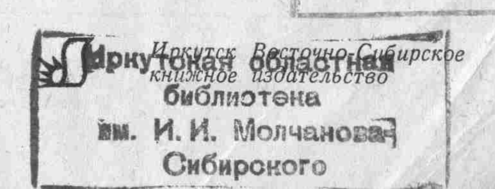
Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

ОСНОВАН В 1930 ГОДУ

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство



На 2-й, 3-й страницах обложки, на вклейке — фотографии из фондов Иркутского краеведческого музея

ISSN 0132—6740



Анатолий **БАЙБОРОДИН**

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ*

ОЧЕРК

С угасанием народной обрядовой песни и авторской лирической, полуслитой с народной, на возникшем песенном пустыре буйно зацвели нахально-лиловыми шишками репейники бесчисленных клубных и ресторанных ВИА. Мне могут возразить: а народные хоры, а пластинки, а телерадиоконцерты, а знаменитые ныне певцы — Штоколов, к примеру, Соловьяненко, Людмила Зыкина? Но дело-то в том, что не этим мерится угасание или возрождение народной песни, мера тут: что поет сам народ и особенно молодежь, которой продолжать национальную культуру. А потом, если сравнить с эстрадными, то у нас не так и часты концерты народной песни и музыки; годом да родом видим мы по «голубому ящику» хор имени Пятницкого, Омский, Кубанский, Донской, Северный хоры, ансамбль народной музыки Дмитрия Покровского, редки, очень редки концерты певцов, исполнителей русских народных песен, но зато чуть ли не в любое время стоит только включить «ящик», как уж непременно угодишь на одну из трех-четырех эстрадных «звезд» первой величины. И тут даже нелепо получается, издевательски, когда студии для пожилых людей по своему, надо думать, усмотрению, не по заявке, включают, к примеру, Пугачеву, Леонтьева или еще кого-то в их эстрадном стиле. Насчет же пластинок русских знаменитых певцов дело обстоит опять же не лучшим образом: я могу легко и хоть воз купить пластинок Пугачевой и Леонтьева, которыми завалены прилавки музыкальных магазинов, но вот записей Федора Шаляпина днем с огнем не найдешь, и я несколько лет искал их, помня, что когда-то все же выходил набор пластинок, где были записаны народные песни и оперные партии в исполнении великого русского певца. Когда уже писались эти заметки, набор пластинок выслала мне одна добрая женщина аж из Ленинграда.

В подобных случаях у меня всегда рождается один и тот же вопрос: какая эта такая нечистая сила городится перед нашей отечественной культурой, заслоняет ее от русского человека, тыкая мордой в какой-то музыкальный, литературный, живописный, архитектурный суррогат? Вопрос этот возникает, когда видишь на фотографиях дива, сотворенные народом-художником, — русские храмы, стертые с лица земли русской, как и тысячи других памятников российского зодчества. Валентин Распутин в очерке «Его сотворенное поле» приводит скорбные слова Федора Абрамова, в некоторой мере отвечающие на наш горький «российский вопрос»: «Что ж распустили вы там (в Иркутске. — А. Б.) своих перестройщиков?! Они рады все перестроить, все с ног на голову. Красивый город, и — портите. Что ты мне о вкусе! Дело не во вкусе. Есть люди, которые заинтересованы, чтобы мы с тобой, живя в

---

* Окончание. Начало см. «Сибирь» № 2 с. г.

России, остались без России. Чтобы она у нас потихоньку да помаленьку уходила из-под ног. Эх!.. Когда поумнеем?!»

Вопрос о той же далеко смотрящей и много замышляющей воле рождается, когда мы вдруг под сорок лет открываем каким-то чудом великих мастеров русского слова, живших в наше время или в нынешнем веке. Так было у меня, когда я открыл для себя северного сказочника Степана Писахова, о котором Федор Абрамов в очерке сказал, что Писахов по таланту стоит вровень с Андерсеном, но для русского человека еще и на голову выше Андерсена, потому что русский. Но я-то всегда знал только Андерсена, а про Писахова и слыхом не слыхивал, хотя этот замечательный архангельский писатель и сказитель написал свои жемчужины народного юмора еще задолго до моего рождения. Почему же ни в школе, ни в университете, нигде и никто не говорил мне про этого замечательного сказочника, который, без всякого сомнения, заслуживает в русской литературе такого же высокого места, как и другой писатель-сказочник — Павел Бажов? Также с великим запозданием и опять по великому чуду, опять самолично открыл я и Бориса Шергина и уже позже прочитал о нем у Владимира Личутина (кстати, изумительного, какого-то маркесовского и в то же время глубоко русского, мифологического таланта писатель, пока еще совершенно сокрытый от широкого читателя). А совсем недавно прочел я записки Федора Абрамова, вернее, наброски к будущему очерку, где так высоко, с такой болью сказано о Борисе Шергине:

«Впечатление (от Бориса Шергина. — **А. Б.**). Побывал в 16—17 вв., а может быть, у ее истоков. Святой и вещий баян, и монах, и летописец... Вышел с ощущением святости... И все люди хорошие. И хотелось со всеми быть хорошим... Ощущение: с Зосимой Достоевского беседовал... В Оптикой пустыне побывал. Ощущение святости всю дорогу... Темная изба. Темный коридор, пропахший кухней, помоями, уборной — в провинции такие, из которых никогда не выветривается запах... По искренности, по наивности Шергин перекликается, вероятно, только с одним писателем в русской литературе — с протопопом Аввакумом. Но у Аввакума искренность, душевность очень земная, «плотская», хотя он и лицо духовное. У Шергина искренность ребенка, святого старца, всемудрого, отрешившегося от всех земных страстей, научившегося всех прощать и т. д. Беспорочная чистота. Он святее и чище любого церковника, хотя живет в миру. А в сущности, он ведь кто? Отшельник в своем подвале, забытый, покинутый всеми... Все время жил трудно материально, а какая душа!.. У Шергина не было пиджака. Праведник, святой в наши дни — не чудо ли? А охочих до него не было. Один весь день. Писатели, которые клянутся в любви к русскому народу, не бывали. Походил и на вещего сказочника... Рублевская «Троица» приходит на ум, когда читаешь Шергина. Откуда этот дух русского смирения и неизъяснимой светоносности, душевной красоты, которая исходит от этих ангелов... Искусство Шергина сродни иконе. Икона — литературе. И сродни народному творчеству... Шергин и Писахов воспитаны совсем на другой культуре, чем мы, родившиеся в советское время... Снял пальто на вешалке (речь идет о Центральном Доме литераторов. — **А. Б.**), легко вбежал по легкой, в три ступеньки лестнице в портретный зал вестибюля, разбежался глазами. Глянул на одну афишу, на другую — цветастые, яркие; и вдруг на щите, неподалеку от стола дежурной, задержался глазом — больно уж убого. Увидел небольшой белый листок, исписанный черными письменными буквами, сиротливый, нищенский на фоне этого великолепия... Вчитался. Траурное объявление, возвещающее о смерти члена СП с 1934 года Бориса Викторовича Шергина. И все. Ни фотографии, ни обычного указания о дне похорон, панихиды. Шергин, Шергин... Кто такой?.. А может, это тот Шергин... Нет, не может быть... О том же ведь рыдал бы сейчас весь Дом литераторов. Спрашиваю у дежурной. Пожимает плечами, спрашиваю у одного-двух членов СП, сытых, раскормленных, с павлиньей важностью прохаживающихся по вестибюлю,— тоже не слыхали про такого. Звоню Юре Галкину... Да-да, тот

самый... Да, умер неповторимый волшебник слова, может быть, лучший писатель, живший в Москве. А Москва и не знала, что такой есть... Что мы за русские? Почему не щадим, все топчем свое? От богатства непомерного, от щедрости?..»

Кого мы теперь только не открываем для широкого читателя, зрителя. Мы печемся о наследии Бориса Пастернака, бьемся за него не на жизнь, а на смерть, мы открываем поэзию Осипа Мандельштама, живопись Марка Шагала, но что же мы не открываем для того же широкого читателя Писахова, Шергина, Марию Кривополенову — знаменитую русскую сказительницу, или, к примеру, И. А. Федосову, которую Горький назвал «великой народной поэтессой». Если, допустим, поэзию Мандельштама или его имя знает даже широкий читатель, то имя той же Федосовой слыхом не слыхивали большинство из тех, кто получил высшее гуманитарное образование. А ведь «Причитания Северного края» И. А. Федосовой, изданные в трех томах (1872—1875), получили мировую известность. Поэмы-плачи И. А. Федосовой слушали Горький, Шаляпин, Римский-Корсаков, Балакирев. «Она вызвала у меня незабываемое впечатление, — писал Федор Шаляпин. — Я слышал много рассказов, старых песен и былин и до встречи с Федосовой, но только в ее изумительной передаче мне вдруг понятна стала глубокая прелесть народного творчества». К. Чистов, автор предисловия к поэмам-плачам И. А. Федосовой (Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. Ленинград: Художественная литература, 1984), пишет: «Об ее талантливых импровизациях писали журналисты и ученые, известные литераторы черпали в ее творчестве свое вдохновение (Н. А. Некрасов в главе «Крестьянка» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», П. И. Мельников-Печерский в романе «В лесах», М. М. Пришвин, А. Т. Твардовский и др.).

У Федосовой был не пересказ былин, не исполнение уже известных старинных песен, у нее были поэмы-импровизации, рожденные в самом прямом смысле опечаленной душой, поскольку импровизация изначально рождалась по поводу реальной смерти человеческой: плач о попе — отце духовном, плач о старосте, плач о писаре, плач о дочери... Но какое широкое, мудрое осмысление человеческой жизни дается в этих поэмах, какая величавая поэзия, перед которой, без всякого сомнения, склонил бы голову и Пушкин, доведись ему послушать поэмы Федосовой, простой заонежской крестьянки.

Хоть повыстанем по утрышку ранешенько,
Не о добрых делах мы думу думаем,
Мы на сонмище бесовско собираемся,
Мы во тяжких грехах да не прощаемся!
Знать, за наше за велико беззаконие
Допустил господь ловцов да на киян-море;
Изловили они рыбоньку незнамую,
Повыняли ключи да подземельные,
Повыпустили горюшко великое!
Зло несносное велико это горюшко
По Россиюшке летает ясным соколом,
Над крестьянами злодийно черным вороном...

Послыхайте словеса наши старинные,
Заприметьте того, малы недоросточки!
Уж как это сине морюшко сбушуется,
На синём море волна да порасходится,
Будут земские вси избы испражнятися*,
Скрозекозные** судьи да присылатися:
Вси изменятся пустыни богомольные,
Разорятся вси часовенки спасенные!

Какое, не говоря уж о непостижимой поэтичности, вещее слово, верное и печальное пророчество, будто взор заонежской крестьянки по божьему провидению высмотрел нынешние времена, когда «не о добрых делах мы думу думаем, мы на сонмище бесовско собираемся», когда «горюшко великое по Россиюшке летает ясным соколом», когда мы разорили «вси часовенки спасенные», подвергли опустошению нашу родовую старину, истоптали, говоря словами Федора Абрамова, всё свое народное, позабыли-позабросили народную культуру!

* * *

Вот теперь самое время опять опуститься на многогрешную нашу землю и опять посмотреть, что же мы имеем взамен. Вернувшись к разговору о песенной культуре,

---

* Пустеть (примеч. источника).
** Злокозненные (примеч. источника).

можно сказать, что с размножением вокально-инструментальных ансамблей, рок-групп взяли нашу молодежь в полон, обложили глухо, со всех сторон бездарные и бесстыдные тексты «поэтов-песенников», измусоливших, исслюнявивших плотскую любовь, тем самым сознательно или уж бессознательно снизив в сознании новых поколений самое высокое, единственно спасительное для человечества понятие любви не как влечения разнополых, а как любви к России, к своему роду-племени, наконец, к природе. Восхитительной или сострадательной любовью к земляку, к отчему краю была по самые края наполнена русская классическая поэзия, в лучших своих образцах приближенная к народной, благодаря чему она и выделилась в мировой литературе как образец высокой незатуманенной духовности. И вот в связи с этим не могу постигнуть, дойти своим умом, для какой такой потребы сотнями запускаются песни с убогими, низкими текстами «поэтов-песенников», тогда как на книжных полках стоят сотни томов классической поэзии, которая способна ответить самым сокровенным чувствам человека любого времени и любого возраста, которая, наконец, и сама так и просится в песню. А потом есть и записанные народные песни, какие тоже могут составить целые тома, и, казалось бы, нечего тут мудрить. Нет, мы начинаем на ходу выдумывать новые.

К бездушным и неумным текстам «поэтов-песенников» прибавляется такая же бездушная, жестокая, какая-то физиологическая музыка, и все это вместе порождает и бездушного, ожесточенного слушателя. И тут меня поражает один факт: за наше же развращение, за наше падение нас же эти «поэты-песенники», эстрадные композиторы и «звезды» эстрады обдирают как липку; мы же, молодое и среднее поколение, несем к их сатанинскому жертвеннику и души свои, и щедрые земные приношения. Вот и выходит, что эти эстрадные «звезды», проповедники крайнего бесстыдства, купаются в золоте, а Шергин жил в сыром и провонявшем помоями подвале и не имел пиджака, как и не имел денег, чтобы побывать на родном поморском севере. А сколько еще истинно народных, от русского бога поэтов мытарились и мытарятся по жизни, и голоса их, взывающие к любви и совести, не могут пробиться к молодому слушателю сквозь рев и грохот эстрадного безумия. И дело тут не только в средствах — знаменитая северная сказительница Мария Кривополенова (Махоня) всю жизнь собирала «кусоцки», расхаживая по деревням со своей котомой и ведая свои сказы, и когда ей — это еще в бытность Луначарского — дали деньги за одно из выступлений в столице, она тут же отдала их швейцару в гардеробе и опять пошла по миру, другой доли себе не желая и не гадая, — так что дело не в средствах, а в справедливости. Недаром Федор Абрамов в тех же записках о Шергине воскликнул: «О Россия, Россия. Когда же ты наконец будешь воздавать своим сынам не по чинам, а по заслугам».

...Как я уже говорил, меня интересовало искреннее, неподдельное отношение молодежи к своей народной песне, и тут я пошел на одну, как теперь думаю, бесстыдную выходку. Но это было давненько, и я уже раскаялся в своем поступке.

А случилось все на дискотечном вечере. Еще не завели светомузыку и не заметались в темноте безумные, лихорадочные отсветы, еще не раскололась тишина визгом и бухающими ударами «механического молота», размалывающего всю человеческую суть, еще завсегдатаи дискотеки терлись возле бара, где пышноусый лукавый бармен с завитой шапкой волос почему-то в беспогонном офицерском кителе, перекрещенном потертыми ремнями, разливал пенистые коктейли, — в это самое время с милостивого и насмешливого согласия одного из устроителей дискотеки включил я песню Ольги Васильевны Ковалевой.

Ей, талантливой исполнительнице старинных русских песен, Митрофан Ефимович Пятницкий, до слез потрясенный ее пением, с благодарным поклоном надписал книгу собранных им крестьянских песен: «Глубокоуважаемой Ольге Васильевне — певцу народного горя». Особенная, глубинная народность ее таланта заключалась перво-наперво в том, что пела она не в той обездушенной,

или, как теперь говорят, «сытой фестивальной» манере и не тяготела к оперности, а пела так, как пели именно в ее деревне Любовке Актарского уезда Саратовской губернии и как выпевалось из собственной настрадавшейся души.

Да-а летели гуси-лебеди через двор,
О-ой, лё-ли, ой да ля-ли через двор.
Ударили крылом белым о терем,
О-ой, лё-ли, ой да ля-ли о терем.
Вставай, вставай, Настасьюшка, раненько.
О-ой, лё-ли, ой да ля-ли раненько.
Поливай, поливай зеленый садочек частенько,
О-ой, лё-ли, ой да ля-ли частенько.
Поливай, поливай, ключевою водою, —
О-ой, лё-ли, ой да ля-ли водою.
Еще своею горючею слезой,
О-ой, лё-ли, ой да ля-ли слезою...

Когда здесь, на дискотечном вечере, пелась эта печальная до слез девичья песня, похожая на причет вопленницы, я мучительно ждал ее окончания, чтобы выключить пластинку. Молодые же ребята вначале замерли в обиженном непонимании — туда ли они попали, а если туда, то кто включил эту муру, — потом одни брезгливо сморщились, другие стали откровенно посмеиваться и возмущаться, третьи смущенно отворачивались, точно кто-то непрошеный силком лез им в душу. И это наши русские парни и девушки! Особенно девушки, потому что песня девичья! Стыд и срам на помраченные наши умы, на занемелые наши души!

Это походило на то подлое и позорное, как мы стеснялись когда-то своего деревенского происхождения, своих деревенских бабок и матерей, приезжающих к нам в студенческие общежития в плюшевых дошках и тряпичных, осоюзенных кожей ичигах, в серых полушалках; привозящих нам завернутое в полотенце сало, яйца, домашние постряпушки. Любили мы бабок и матерей, души в них не чаяли, и от любви же так хотелось, чтобы они, изношенные колхозной работой и домашней колготней, хоть маленько подмолодились, подсовременились, бросили свои деревенские привычки, чокающий сельский говорок и на городской лад пусть бы даже натянули брючки-дрючки, подкрасили свои обветренные, искусанные от вечной натуги скорбные губы, пусть бы даже закурили сигаретки, но только бы не эти дошки, полушалки, тряпичные ичиги и стеснительный чокающий говорок.

Это походило и на то, как мы, точно крыловские свиньи под дубом, морщились, снисходительно терпели, приезжая в деревню, когда ради нас же собиралось застолье и наша постаревшая родня затягивала многоголосые, похожие на причитания старинные песни; и так уж мы торопились, так уж поспешали завести магнитофон с распутно-визгливыми заморскими или куражливо-блатными, циничными, вертлявыми песенками, под которые, как выражались, можно сказать.

Но разве ж чуяли мы тогда занебесную чистоту наших матерей, копошащихся в земле, чистоту, какая песней и обрядом и заслонялась от злых искушений, о какой мы будем потом томиться, представляя ее для себя уже невозможной, непосильной. Мы будем строить свою душу, соскальзывать вниз и вновь устремляться к чистоте душевной, которая была совершенно естественным состоянием наших матерей и бабок. Разве ж могли почувствовать мы, уже захлестнутые, словно удавкой, песенной пошлостью и бездушностью, что родители наши, старики и старухи поют песни, от которых многими веками плакали счастливыми и очистительными слезами наши предки, плакали поэты, композиторы, певцы, музыканты, чья великая земная слава и заколосилась-то на щедрейшем и неоглядном поле русской песни, русской музыки. Недаром для поэта и сочинителя музыки было чуть ли не главной творческой удачей, если хоть одна их песня приравнивалась вдруг к народной и пелась.

Среди российского песенного поля народилась и Ольга Васильевна Ковалева, чью песню я включил на том злополучном дискотечном вечере. Слава и признание россиян пришли к ней в феврале 1914 года, когда она спела свои песни в Политехническом музее в Москве. «На сцену вышла рослая молодая женщина в русском национальном костюме, — говорится в предисловии к пластинке, выпущенной несколько лет назад фирмой «Мелодия», — и полились в зал народные песни о нужде и горе, о нелегкой женской су-

дьбе, свадебные плачи и причитания, зазвучали хоровые и плясовые, шуточные, игровые прибаутки...» «Какая красота! Подлинная народность! Впечатление сильное и в высшей степени свежее!» — писали тогдашние русские газеты. В одном из многочисленных отзывов на ее исполнение говорилось: «Певучесть, ласковость, мягкость звука, глубина чувств, теплота большого сердца — вот что так волнует в Ваших песнях, вызывает сопереживание, привлекает, трогает до слез...»

После этого знаменитого выступления любовь к ее песне жила в нашем отечестве еще лет сорок, но и до четырнадцатого года песельница, собирательница старинных народных песен Ольга Васильевна Ковалева, подобно сказителям, подобно знаменитой Марии Кривополеновой, странствовала по Руси нашей великой, пела за некорыстное вознаграждение, а чаще, как говорится, за кусок хлеба. Ее везде ждали, любили... и разве ж могла она предвидеть, высмотреть даже в страшном сне, что придет такое время на Руси, когда песен ее народных будут стесняться молодые русичи, брезговать ими, насмехаться над ними?! А так и вышло на том дискотечном вечере...

Я полагал, что подобное небрежение или, в лучшем случае, полное равнодушие к своей родовой культуре, в данном случае к национальной песне, процветает не только среди наших нынешних Иванов, не помнящих родства, но и среди молодежи других народов. Так оно, вероятно, и было, и есть, только что в разной мере. Но вот интересный случай... Несколько лет назад приехал я в свою родную деревню и угодил прямо к большому бурятскому застолью. Как и было искони заведено у них, отпотчевали позами, потом выставили на стол баранину, варенную бухулёром, то есть большими кусками, которые (если они без костей) перед варкой нанизывают на гладкоструганые палочки, чтобы удобнее было держать, не обжигая пальцев. К бухулёру в китайских толстостенных фарфоровых пиалах подали бульон, а к позам в таких же пиалах — зеленый чай, какой в наших краях зовут бурятским (варится он с молоком, и добавляют в него немного соли, масла и даже щепоть, другую толченых сухарей). За столом сидели в основном молоденькие парни и девчата, и лишь во главе стола — древний старик и подле него три-четыре пожилых мужика. И оказался я в застолье один русский, но земляки, как и всякий простой деревенский народ, были гостеприимны, хлебосольны, общительны, поэтому я не чувствовал себя лишним, чужеродным. И когда вся братчина насытилась, старик тихо и протяжно запел, как мне потом сказали, старинную песню; и тут молодые мои земляки разом поднялись и, благоговейно глядя на старика, горячо и азартно повели мотив. Слов я, конечно, не понимал, но до слез растрогал сам мотив: то будто тоскливый посвист ветра в степи и шелест потемневших осенних трав, то похожий на плавное кружение поднебесного коршуна, высматривающего добычу среди степных увалов, а то будто ярый перестук копыт и дрожащий гул раскаленной полуденным зноем степной земли...

Если бы хоть немного, как говорится, толмачил я в их языке, то уж не вытерпел бы и подпел, вот до чего растрогало меня тогда бурятское, преисполненное общинным духом, горячее застолье. Хотя я и раньше видел, с каким коленопреклоненным почтением, с каким глубоким знанием бурятская молодежь относится к своим национальным обычаям и повериям, к своим обрядам и песням. Достаточно припомнить летний сурхарбан — праздник, обозначение которого дословно переводится как «стрельба из лука», или зимний сагалгын — праздник белого месяца, что-то вроде наших святок и Нового года или рождества. И это почтение к своей народной культуре порождало перво-наперво самое почтительное и в то же время горделивое отношение к отцам, матерям, к старикам, к живым и умершим предкам. Уж до чего бывали отчаянные пареньки-буряты, а и слова поперек не смели сказать отцу или матери, деду или бабке, и уж в праздничном застолье всегда усаживали их во главе стола верховодить. Буряты, насколько я знал, прожив четверть века в русско-бурятской деревне, даже и вообразить себе не могли, что какой-то сын или такая-сякая дочь могли забыть, а то и вовсе бросить своих немощ-

ных родителей. А ведь у нас, у русских, это нынче сплошь и рядом, об этом и в газетах трезвонят, правда, почти никогда не указывая истинный корень этого зла, который не в абстрактной аморальности, а в утрате национального духа, благодаря которому в свое время через те же обычаи и поверия, через те же обрядовые песни и были накрепко утверждены нравственные правила человеческого бытия, в том числе и покорное, смиренное почтение к предкам, здравствующим и отошедшим в другой мир.

Растрогавшись в том бурятском застолье, я тут же загадал, глядя на древнего старика — а подтянули бы вот так же русские ребята и девчата, если бы, к примеру, дед мой Лазарь, выходец из староверов-семейских, проживший сто семь лет, потянул бы вдруг в молодой компании:

Ты вещун, да птица-ворон,
Да что кружишься надо мной,
Полетай, вещун да ворон,
Ты к себе лучше домой...

Ладно, это уж, как говорится, больно ранешная, куда нам подтянуть, а подхватили бы, если бы пелось что-то познакомее — «Степь да степь кругом», к примеру? Загадал я это, слушая, как поют свою народную песню молодые буряты, и горько мне стало: самое последнее русское поколение не то что подтянуть, подхватить мотив, слушать-то не станет, если силком не усадишь. Убежит молодежь или тут же поперек старины заведет свои «дрыгучие», как говорили раньше в деревне, а то и врубит магнитофон, и какой-нибудь «Бони М», лет с пяток назад еще такой модный, заревет лихоматом: «Варвара жарит ку-у-ур!..» — так перевели ходовую песенку на русский язык наши бойкие паренькн. Нет, не запоют, не подпоют да, пренебрежительно настроенные к отцам, матерям, к старикам и старухам, и другим-то петь не дадут, ухмыляться станут, насмешки строить. Верно сказала одна старуха, моя землячка: «Нонесь-то редко старины мотивы поют, все больше дрыгалки-прыгалки, что в радиве, что в телевизоре, одна холера. Да и не поют шибко-то. Когда петь-то, ежели день-деньской глаз из телевизора не достают. А то дрыгалки заведут и сидят, будто мака опились... А уж мы-то в девках, бывало, в уши светильника лучину приладим и сидим прядем и уж все старинны мотивы перепоем. Аж слезу, бывало, прошибет, вот как песня забирала, и все вроде легче на душе...»

* * *

Глядя на дискотечных ребят, брезгующих своей народной песней, можно было, конечно, только вздохнуть — «новые песни придумала жизнь», и ничего тут страшного нету, коль эти русские ребята не любят вековечных родных песен, коль им претит и сам дух русский, а больше приманивает даже не просто заморский, а какой-то космополитический,— дело вкуса, как говорят. Но беда-то в том — и это нужно много раз повторять,— что с падением в наших душах национального духа падает и наша мораль, ибо для того и вершилась тысячелетиями национальная культура, чтобы идеально отработать и поэтически закрепить моральные правила. И так в любом народе, населяющем землю-матушку: нет национального самосознания — все, нет и морали в людях.

Тут могут сразу же в укор сказать: а морален ли национализм? Разумеется, аморален, но он, во-первых, как болезненный нарыв на теле смертельно страдающего народа, как крайность — крайность опасная и унижающая само понятие национального самосознания; во-вторых, исходит он обычно от людей, не столько любящих и гордящихся своей культурой, своим народом, сколько страдающих комплексом своей национальной неполноценности или даже просто по-житейски корыстных. Это отщепенцы нации, космополиты наизнанку; они уже тем вне своей нации, что в основе их сознания лежит не любовь к земляку, а презрение ко всякому инородцу — презрение, густо заведенное на боязни этого инородца. Иного чужеродца и можно, и нужно сторожиться, но не в этом одном национальное самосознание, и даже менее всего в этом. Творя зло и поруху другому народу или, проникнув в него, демократическим путем заняв ключевые позиции в экономике, культуре, идеологии, разлагая этот народ, это государство изнутри, чтобы потом покорить полностью, националисты, исчадье ада, уже тем самым отрываются и от своей нации, от

своих корней, поскольку в основе всякого истинного национального духа — любовь к ближнему независимо от цвета кожи, терпимость ко всякому инородцу, исходящая от чувства своей национальной полноценности. Только слабый, душевно опустошенный, потерявший в пороках истинный народный дух, горделиво заносчив, зол и агрессивен, могучий же духом — смирен и жалостлив. Об этом и в былинах пелось... Но и могучий смирен до поры до времени. Вспомним былинного Никиту Кожемяку, который не шел воевать, сколько его ни упрашивала княжеская дружина, а лишь когда взмолились плачущие вдовы да дети-сироты, порвал он с великой досады бычьи шкуры, которые мял, и пошел защитить от ворога, от нечистой силы вдов и сирот, всю святую Русь. Только слезы униженных и оскорбленных, обездоленных и осиротевших, только Русь, попранная чужекровцем, а не воинская слава и добыча заставили Никиту Кожемяку взять карающий меч. Это лишь романтически воспеваемые по сей день, стоящие по колено в людской крови всякие «рыцари плаща и шпаги», флибустьеры, лихие мушкетеры могли и за медный грош, а за бабью юбку, из скотской похоти или взбесившись с жиру резать шутя, играючи сотни людей — «вжик, вжик,— относи готовенького».

Но теперь, похоже, и нам впору обращаться к Никите Кожемяке, если говорить, пожалуй, не в прямом, а в нравственном, идеологическом смысле. Леонид Леонов в своей статье «Раздумья у старого камня», написанной восемнадцать лет назад и опубликованной в «Советской культуре» в августе 1986 года, писал: «Гражданская совесть и стариковские предчувствия повелевают мне высказаться вслух **по поводу нашей старины, подвергшейся почти сейсмическому опустошению. Многое из сокрушенного, испепеленного по первому разряду усердием общеизвестных лиц уже не воротить. Тем громче надо вступаться в защиту уцелевшего**» (выделено мною.— А. Б.) Позже Инна Ростовцева в статье о Леонове отмечала: «Вспоминается предупреждение писателя, что сегодня мышление вслух о таких важных предметах очень похоже на прогулку по минному полю, причем каждую минуту что-то может взорваться... «**Взрывается» слово Леонова, когда он прикасается к таким острым, больным, кровоточащим проблемам нашей жизни, как пренебрежение к памяти**...» (выделено мною. — А. Б.).

Покушения же на русский нравственный дух, идеально отработанный и закрепленный в семейных и общинных устоях, во всей прикладной крестьянской культуре, в обрядах и поверьях, начались, ясное дело, и не вчера, и не позавчера — вчера наша старина, говоря словами Леонова, подверглась уже сейсмическому опустошению. Но еще Достоевский вступил в спор с «западниками», провозгласившими, что-де не в «сарафане» народность, не в умиленной любви к российскому мужику с его общиной и земством, с его домостроем, со всей его обрядовой поэзией и прикладным творчеством, нет, народность, мол, в пробуждении мужика от многовековой, рабской «тьмы и дикости» к свету европейского просвещения. В романе «Бесы» Достоевский как раз и приводит спор писателя-западника, ученика Белинского Степана Трофимовича Верховенского со славянофилом Шатовым. Верховенский размышляет:

« — ...Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужиками, мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними, как с новооткрытой драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня (имеется в виду русский народ. — А. Б.) за всю тысячу лет дала нам лишь одного камаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великолепную Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика». Я же готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель... Друзья мои,— учил он нас,— наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах,— то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершуле,

за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего такого не случилось и ничего такого не зародилось... Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа, все те же немцы — двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить...

Но тут вступался Шатов.

— Никогда эти люди (западники или нетерпеливцы, как называл их «умеренный» Лесков.— **А. Б.**) не любили народ, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами себе в утеху...

— Это они-то не любили народа! — завопил Степан Трофимович. — О, как они любили Россию!..

— Ни России, ни народа! — завопил и Шатов, сверкая глазами. — Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили. Все они и вы, и вы вместе с ними, просмотрели народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он, пожалуй, всех вас умнее был. Вы мало того что просмотрели народ, — вы с омерзительным презрением к нему относились, уже по тому одному, что под народом вы воображали один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков».

Прежде чем продолжить разговор о народной культуре, в частности о народной песне, совершенно необходимо несколько слов сказать о русских славянофилах, поскольку благодаря им, славянофилам, не только теоретически обосновавшим великое и спасительное значение для России общины и земского самоуправления, не только ратовавших, как и Достоевский, за духовное воссоединение славянства под духовным же началом богоносного русского народа, но занимавшихся сбиранием и изучением фольклорного и этнографического материала, не канули в Лету совершенно наши мифы и легенды, наши обряды и поверия, наши сказки и песни — то есть «золотой и серебряный», как его называли в прошлом веке, русский фольклор. Только славянофилы среди тогдашних литературно-общественных направлений глубоко, с великим почтением и любовью знали народный быт, народную культуру. «В свое время славянофильство много сделало пользы для изучения быта нашего народа, — писал Достоевский, поначалу споривший со славянофилами по вопросам образования и просвещения народа. — Оно показало много сторон в русской жизни, указало значение земства в нашей истории и непосредственное ее выражение — общинный быт...» (Два лагеря теоретиков,1862). «Да и кто тогда мог что-нибудь знать о России? Славянофилы, конечно, знали во сто крат более западников (и это минимум), но они действовали почти что ощупью, умозрительно и отвлеченно, опираясь более на чрезвычайное чутье свое». «Ни один западник не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков (один из теоретиков славянофильства. — **А. Б.**) в одном из самых последних своих сочинений, к сожалению, неоконченном. Трудно представить себе понимание более точное, ясное и широкое и плодотворное».

Славянофильская идея святой, богоносной Руси с болью и мукой звучала и через несколько десятилетий, когда рушилась, заливалась кровью великая держава, и возглавшие ее даже тогда не теряли надежды, не хоронили навечно Русь. В этом смысле примечательны пророческие слова Павла Флоренского, открываемого ныне великого христианского подвижника, православного страстотерпца и русского философа, сказанные им в письме к наследнице имения Абрамцево (родина славянофила Аксакова) А. С. Мамонтовой от 30 июля 1917 года: «Все то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю

и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси...» Тут священник отец Павел пророчески увидел через пороховой дым и заводской чад, услышал через предсмертные стоны и грохот взрывов, через машинный рев и визг «сатанинских плясок» наши восьмидесятые годы, когда в измаянных нигилизмом и цинизмом русских братьях и сестрах вновь зазвучала нравственно спасительная идея бессмертия Руси, пробудилось горделивое чувство причастности к ней. «Я уверен,— писал отец Павел,— что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с ХУII века. Тогда «Абрамцево» и Ваше Абрамцево будут оценены; тогда будут холить и беречь каждое бревнышко Аксаковского дома, каждую картину, каждое предание в Абрамцеве, в абрамцевых. И Вы должны заботиться обо всем этом ради будущей России, вопреки всяким возгласам и крикам».

Вот тут самое время сказать о разногласиях Достоевского со славянофилами, на которые в нынешнее время особенно напирают в литературных кругах, условно скажем, нового западнического направления. Помню, не так давно одна молодая литературная дама с перекошенным от злобы лицом чуть ли не носом тыкала меня в том Достоевского, где в статье «Книжность и грамотность» писатель критиковал славянофилов за то, что, «признавая жизнь только в народе, он («День» — газета славянофилов. — А. Б.) готов отвергнуть всякую жизнь в литературе и обществе». Критиковал за то, что славянофилы в понятие «народ» упорно не желали включать образованное светское общество, что противились книжному образованию народа, полагая, что с этим образованием в народе разовьются многие пороки, свойственные образованному обществу. Напирая на это, нервная литературная дама с победным торжеством возглашала: вот-де как вами уважаемый Достоевский разделался с вашими славянофилами!.. Но разделался ли?.. Действительно, Достоевский, принимая взгляды славянофилов по поводу всеславянского единения под духовным началом России, по поводу русской общины и земства, не мог вначале согласиться даже с тем, что народная культура стоит над классической, что классики литературы, живописи, музыки лишь ученики у народного творчества, и лишь те их произведения действительно значительны, где без сатирического оплевывания показан величавый простонародный дух, лад крестьянского быта, обрядовая поэзия будней и праздников. Бог им, как говорится, судья, тем более в последние годы и этого разногласия между славянофилами и Достоевским не стало, для чего достаточно вспомнить идею «куфельного мужика». В одном из просвещенных кружков, где весь вечер шли споры и размышления о нравственном спасении, о путях возрождения России, Достоевский, угрюмо сидевший в углу, вдруг воскликнул, указав на кухонного (куфельного) мужика, принесшего дрова: дескать, идите к нему, спросите, он все знает, он знает, как жить!.. Общество было сконфужено, многие брезгливо и насмешливо поморщились, и тогда в некотором ироническом освещении пошла гулять по свету идея Достоевского — идея «куфельного мужика».

Думается, что сравнение классического творчества с традиционным народным, вобравшим в себя двухтысячелетний нравственный и художественный опыт нации, просто неуместно, глупо даже, как глупо было бы сравнивать написанный маслом закат с самим закатом; сравнивать и гадать, что же выше и художественней: написанный маслом на холсте закат или природный натуральный. В этом смысле для народного творчества — для наших вековечных песен и плачей, для наших поверий и обрядов, мифов и былин, для сказок и бывальщин, для поговорок, наконец, и пословиц — даже величание «гениальное» мало, оно лишь впору для великих творений классической культуры

Так вот, разногласия Достоевского со славянофилами сошли почти что на нет, когда Достоевский наконец открыто признал себя славянофилом, хотя и славянофилом, условно говоря, «третьего толка». Очень примечательно и важно для нашего всего разговора его «Признание славянофила»: «Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский действительно дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть ли не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединении всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начало которого лежит в гении славян, и преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому отделу убежденных и верующих принадлежу и я». Чуть позже в «Кратких биографических сведениях», продиктованных Анне Григорьевне Достоевской, писатель скажет прямо, что «по убеждениям своим он открытый славянофил».

А теперь вернемся к поднятому нами уже вопросу о стыде за свой народ. Если в романе «Бесы» Достоевский вложил едкую критику «русских западников» в уста славянофила Шатова, то уже в «Дневнике писателя», предваряя свою знаменитую речь о Пушкине, сказал по поводу «стыда» уже своим голосом, но как бы через самих же просвещенцев «западного толка»: «Мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вынося народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там наступит после образования его. О б р а з о в а н и е ж е е г о м ы о с н у е м и н а ч н е м, с ч е г о с а м и н а ч а л и, т о е с т ь н а о т р и ц а н и и и м в с е г о е г о п р о ш л о г о и н а п р о к л я т и и, к о т о р о м у о н с а м д о л ж е н п р е д а т ь с в о е п р о ш л о е. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас начнем обольщать его Европой, ну хотя бы утонченность быта, приличий, костюма, напитков, танцев,— словом, з а с т а в и м е г о у с т ы д и т ь с я с в о е г о п р е ж н е г о л а п т я и к в а с у, у с т ы д и т ь с я с в о и х д р е в н и х п е с е н... (выделено мною.— **А. Б.**). Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш,— вот наша формула. Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставлять лишь слушаться».

Разумеется, Достоевский в полемическом азарте сатирически упростил идеи западников, можно даже сказать, подчернил, но, будучи одним из самых провидящих, вещих писателей, он как бы увидел уже грядущие последствия довольно невинных на первый взгляд и по тем временам вроде бы даже передовых идей — то есть как «грядущего хама», увидел страшное общество беспамятных Иванов и беспамятных манкуртов — человекороботов, в которых мы, отринув народную культуру, а значит, и народный нравственный дух, начинаем превращаться.

Вполне возможно, что Достоевский, когда писал эти пророческие строки в речи о Пушкине, помнил стихотворение поэта о «просвещенцах»:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,

И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел...

Стыд за свой народ еще в довоенные времена был лишь кичливой побрякушкой «просвещенцев-западников», ослепленных блескучей мишурой европейской культуры, потерявших в оторванном от народного нравственного и художественного опыта, углубленном рассудочном познании меру стыда и человечности; сам же наш народ, хоть и бороды ему брили, и немецкие кафтаны пялили, и от суровых моральных устоев старой веры отвращали, и на братоубийство поднимали, и водкой опаивали, и в колонии сгоняли, и разоряли, и позором клеймили, и непосильным трудом гробили,— не только не стыдился себя исконного, сермяжного, деревенского, но, как бы чувствуя единственно спасительную нравственность своей жизни, любовно и согласно слитой с землей, наполненной величайшей обрядовой поэзией, укрепленной тысячелетними моральными правилами, воинственно оберегал себя от «стыда». Но прошло все же времечко, привалило горькое, когда народ стал отрываться от земли, от природы, от родовых корней, от песен своих и плясок и явился, как сытая ухмылка сатаны, стыд за себя вековечного. Тут на пустом месте, выжженном «стыдом», и разрослись наши пороки густым бурьяном.

* * *

Устыдимся своих прежних песен — как далеко и как верно увидел это Достоевский... И я смотрел на этот стыд, когда по глупости включил на дискотечном вечере народную песню, когда будто отдал на поруганье чужеземцам саму нашу песельницу Ольгу Ковалеву. Но самое-то печальное, самое-то противное, что и сам я от стыда сгорал и с большим трудом, с великой мукой дождался окончания песни. Да и не слышал пения, оно и не трогало меня, как это было, когда слушал дома; я не видел даже и брезгливых ребячьих лиц,— от стыда горели даже корни волос, все тело покрылось нервным пóтом, глаза застилали едучие слезы обиды, точно все насмехались надо мной, вызнав, что это я «врубил муру». Но вначале все же было обидно за песню, стыдно, что я включил ее здесь, перед этими... Господи ты мой! — прокликал я себя.— И какой черт дернул меня включить на «скачках» русскую песню, тем более еще и страдательную, похожую на причет?! Это же все равно, как если бы я привел сюда свою старую мать и попросил бы ее спеть для этой публики, и мать, согнутая в дугу, с кривым березовым ботажком, вышла бы в черном запане, в тряпичных ичигах и, прислонившись к электронной установке, затянула бы слезливо:

Вы не вейтеся, русые кудри,
Над моею больной головой...

Нет, подумалось мне с тяжким раскаяньем, не они, ждущие светомузыки, похожей на светопреставление, не они, ждущие оглушающего рева, подлыми тут оказались, а я, искушающий их души и для посмешища «вытащивший» старинную песню. Тем более, предвидел же, предвидел, с каким-то довременным злорадством, что так и обернется дело; хотелось, вишь ли, воочию убедиться, что не по нутру молодым русским свои народные песни. И тут вот, честно признаться, я, точно испуганный ученик, трижды до третьих петухов отрекшийся от своего учителя и горько в том покаявшийся, сам вдруг застыдился этой песни — простенькой и убогонькой она мне показалась; а застыдившись (вот он проклятый «стыд», предреченный Достоевским), стал спрашивать себя: с чего это я, по сути еще такой же молодой, как эти дискотечные ребята, мог любить народные песни, мог носиться с русской стариной и гордиться тем, что я русский?! Все это до того уже прошлое, пахнущее тленом, плесенью, скукой и убожеством старокрестьянского житья-бытья, до того это уже конченное и неуместное при новом научно-техническом образе жизни, при нашем благоговении перед шиком и блеском всего заморского, что и носиться с русской стариной можно или от какой-то неприспособленности к веку, или выставляясь, задаваясь — ишь я какой особенный, отличный от толпы Иванов, не помнящих родства! — или уж из страсти к чему-то остренькому, полуподпольному, поскольку говорить о русских национальных проблемах вроде и смело, и крамольно. Да что там о проблемах, мы гор-

диться чем-то русским и то побаиваемся — как бы шовинистом не прослыть. Недаром же писатель Валентин Распутин в статье, напечатанной в одной из газет, с примечательным заголовком «Душа крепка корнями», сказал: «Не надо бояться называть русское русским. Я бываю за границей, вижу отношение к нам. И вот как это подается: все, что хорошее,— это советское, все, что плохое,— это русское...»

Словом, хоть на самое малое время, а все же стыдно мне стало на том дискотечном вечере за свою любовь к отчей песне, и я горько пожалел, что сунулся сюда. А потом,— прикинул я,— какое я возымел право судить молодых русских парней и девчат, если, грешным делом, и сам лет с десяток назад тут же выключал радио, когда там пелось что-то русское народное, и был без ума от всякого заморского визга и блатных, и «приблатненных» эмигрантских песен, которые тогда гуляли вольно благодаря магнитофонным записям. И, помню, если совершенно не трогало, казалось скучным, хрестоматийным Пушкинское «Лукоморье», написанное с любовью к русской мифологии, с очарованием тайны, то от «Лукоморья» Высоцкого приходил в дикий восторг. Если у Пушкина:

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных...
Там русский дух... там Русью пахнет!

В обработке же и осмыслении Высоцкого «Лукоморье» — поэтически запечатленная Русь — выглядит так:

И русалка там была,
Честь не долго берегла,
А потом, как смогла, родила.
Тридцать три же мужика
Не желают знать сынка —
Пусть считается пока
Сын полка...

Даже при самых благих целях, даже из переживания за русскую старину — тут, правда, этого переживания нет — грешно нам так вольно обращаться с величайшей народной мифологической культурой, а заодно и с великим русским поэтом, поскольку в данном случае что-то вроде смешной и грешной пародии.

Так вот, в юности и я, брезгуя народными песнями, пел подобные песенки, и пел бы при каких-то обстоятельствах и до седых волос, и стал бы походить на гадливо молодящегося, когда уже труха сыплется, похотливого, мокрогубого дедка. Спаси и сохрани! Спаси и сохрани от этого наша задушевная, печальная и радостная народная песня, похожая на леса и долы, степи и холмы, тихие озера и стремительные реки, на небо и солнце.

...Пока я задавал себе всякие мучительные вопросы, а потом уже стыдился своего стыда, смущения за песню Ковалевой, дискотечные ребята, как огня боящиеся песен, размягчающих жалостью сердца, готовы были, коль и дальше станут крутить «муру», всем скопом отчалить из клуба, и устроитель, чтобы не мучить ребят, тут же «врубил заморский визг и стон». И пошло-поехало, завертелись наши ребятки, как блохи на горячей сковородке, точно бесы в них вошли и погнали в ревущую пучину; и скоро уже резко запахло по́том — славу богу, хоть на дискотечном вечере вспотеют, разомнутся, если на работушке не выложились. И мало кто знал, что ревут им усилители не по-русски — ревут, как трактора, оно и ладно,— да если бы иной, самый азартный любитель дрыгалок-прыгалок и вызнал, что там, к примеру, воспевается какое-нибудь гнусное извращение, тот, кто знает, не заплясал бы, не замолотил бы копытами и пуще того.

Вспоминается к случаю одна примечательная байка, а может, далеко и не байка... Какой-то дискотечный ансамбль ревел на танцах некую английскую песенку, и подошел к ним как-то паренек, знающий язык, и спросил: «А вы знаете, парни, хоть что поете-то?» Парни уклончиво промолчали. Тогда этот, который знал язык, растолмачил им смысл песни, который только в том и заключался, что, дескать, вы, русские дураки и свиньи, поете, пляшете под нашу дудку... То ли уж парни

из ансамбля догадывались, о чем поется в песенке, то ли, узнав теперь, не удивились смыслу ее, но как пели, так и продолжали петь.

Так или иначе вышло с каким-то заштатным ансамблишком, но при нашей глухой и слепой, теперь уже застарелой и заскорузлой, западнической страсти ко всему блескучему американскому, английскому и не такое диво могло выйти. Помню, одна моя знакомая студентка купила у барыги барахольного заморские джинсы — тогда, в начале семидесятых, за них еще драли бешеные деньги — купила их, немного поношенные, потертые, что прибавляло им цены, с адской мукой напялила их на себя и тут же пошла в библиотеку готовиться к зачетам. Дело было как раз на сессию... И помню, пройдет раскачисто, с джинсовым треском, пареньки уж волей-неволей отрываются от книжек и глазеют вслед. Товарищ мой, с которым мы сидели в библиотеке, дока в английском языке, как-то вдруг присмотрелся к джинсам, когда девица прочертыхалась мимо нас, и чуть было не расхохотался на весь читальный зал. На заднем кармане, чуть пониже фирменного знака, была прилажена фирменно исполненная английская надпись: «Поцелуй меня в это место...» Кажется, бойкая студенточка потом срезала надпись — неприлично. «Голые ходят,— сказал мне один пожилой мужичок, глядя, как по улице вихлевато прогуливаются молоденькие девицы, туго затянутые в штаны,— оттого и насильства сплошь да рядом. Сами же девки и виноваты. Ты не ходи, не дразни, не накликивай беду на свою голову...» Верно, что прямо сбесились, вышячивая и подчеркивая сокровенные бабьи достоинства, да только куда уж нашего брата, мужика, дальше развращать, когда бы, наоборот, хоть немного умерить страсти, в которых сгорают семьи, души, судьбы, от которых земля наша переполнилась сиротами. И все это изначально, от того же пренебрежения ко всему русскому, от слепого и рабского подражания Западу, где нас и раньше всегда обгоняли в бесстыдстве.

В музейной «сибирской деревне» я наблюдал за одним деревенским пареньком, который ходил по крестьянским подворьям, поглядывал усмешливо на избы, амбары, завозни, на глиняную и деревянную утварь и, подвесив на шею «ботало» — японский магнитофончик,— напялив наушники, слушал что-то из американского рока. То ли он думал, что так будет смахивать на иностранца — но те сроду не таскали по музею магнитофонов, не завешивали уши наушниками, а живо, с удивлением интересовались русской стариной,— то ли уж он хотел доказать мне, его знакомому, что, дескать, хоть и в деревне живу, а тоже от культуры не отстал, тоже, слава богу, приобщился — не у всякого городского имеется японский магнитофончик и есть такие «клевые» записи. И смех и грех, и горько было глядеть на него, и жалко — это же вроде жить в России и стыдиться, что живешь в России, не в Америке, не в Англии и вынужден говорить не по-английски, а по-русски. Ох, как иные из нас порой сожалеют, что родились не где-то на Бродвее, а в какой-нибудь Ольховке.

В пятидесятых и шестидесятых годах наша сатирическая печать и так и этак склоняла рабское, идиотское преклонение перед всем заморским. Помню, в «Крокодилах» тех времен хлестко поносились стиляги доморощенные, дуреющие от заморского тряпья и заморской эстрады; помню, даже приписывалось в стихах: дескать, а сало русское едят. Но нарочно или невольно, а только делалось это так бездарно и неумно, и так уж из этого создавался «сладостный запретный плод», и так было мало талантливого воспевания всего исконного, родного, что молодежь, даже та, какая и сама поначалу чуралась «заморского бесстыдства», валом повалила на барахолки искать нерусское тряпье, поголовно заразилась «ихней эстрадой». Люди «поумнее», поразвитее и тогда, как уж могли, осмеивали аракчеевщину в культуре и быту — «советико морале»,— и тогда уж подсобляли выжить новоявленным стилягам и космополитам и добились-таки своего: теперь, слава нечистому, дело лишь за каким-нибудь стриптизом, остальное все у нас дозволено.

Собирается молодежь и может вечерами напролет слушать разрушающие психику и тело (это подтверждено врачами) тяжелые или, модные сейчас, «чугунно-литейные» ро-

ки, или уж блатные ка одесский манер, уркаганьи песенки, славящие «водочку», «денежки», так и дующие в молодые уши: дескать, будьте, парни, смелыми, отчаянными, учитесь жить у «честных фрайеров», жить красиво, широко, рисково и не бойтесь зоны, там тоже можно жить, если ты «настоящий фрайер». А то уж включает что-то из музыкальной порнографии — охи, вздохи, визги,— похожее на подглядывание в чужую спальню. Низкое притягательно, заразительно, особенно в молодых летах, да и в средних тоже — знаю, грешен, многогрешен,— скотства в нас не только не убавилось, но такое ощущение, что работает могучая, всеохватная, направленная в первую очередь на молодежь, мировая индустрия зла, обращающая человека в полуробота-полускота, разрушающая в душах все чистое, святое — чувство рода, родины, семьи, чувство жертвенной и наслаждающей душу любви к ближнему. Так что ничего и не будет дивного, если эта самая мировая индустрия зла, давно уже взявшая волю и у нас, подсунет нашей молодежи для пущего развития стриптиз. А что, скажет иной «передовой» парнишка, у них можно, а у нас нельзя, да? Чем мы хуже их? У нас, кстати, тоже демократия. И хватит нас пугать гнилым Западом. И что же, при нашем демократизме придется скрепя сердце разрешить и какие-нибудь такие неформальные объединения, где бы можно было скакать в чем мать родила, предаваться свальному греху? Конечно, нужно будет как-то половчее, позаграничнее назвать эти объединения, чтобы молодежь туда валом повалила. Пожалуй, и этого мы дождемся, тем более есть теперь в культурной пропаганде модное поветрие: дескать, надо дать молодежи то, что она просит, что она хочет, а уж она сама разберется, что ей годно, что негодно. А потом выигрышно то, что если мы разрешим для них пусть даже что-то вроде стриптиза, создадим клубы для этого с помощью комсомола, мы же тем самым сразу двух зайцев убьем: во-первых, вытащим юнцов из подвалов и подъездов, чтобы они были у нас на глазах, на контроле, во-вторых, мы же во время тех же сеансов стриптиза можем разъяснять им, как это дурно, аморально, как это губительно для по[illegible] и физиологии. Очень умно, очень демократично, почти что в духе времени. И подобное заявление я слышал от одного журналиста из молодежной газеты. Вот она, берущая последние позиции индустрия зла. Верно было сказано кем-то из писателей: мировое зло, независимо от политических систем, сумело крепко объединиться и широко, всеохватно развернуть свою сатанинскую работу, добро же мировое пока еще разобщено, вяло и не насторожено.

И уж, конечно, воссоединенное зло не могло оставить в стороне молодежную эстраду; уж ее-то, строящую мировоззрение нового поколения, оно пригрело в первую очередь, породив так называемую массовую культуру. Тут уж открылось такое откровенное сатанинство, такое бесстыдство, что только диву можно было даться... и со временем привыкнуть. Ко всему можно привыкнуть, все может стать в порядке вещей. Но вкачале смелость...

По этому поводу стал я одно время полушутя, полусерьезно гадать: как выделиться молодому эстрадному певцу, чтобы перещеголять хотя бы не заморских, а своих эстрадных воротил, чтобы затмить наши «звезды» наипервой величины, какие с экрана не слазят, как сказал один пожилой мужичок, не дождавшись в телеконцерте добрых русских песен. Вот со дня на день уйдут со сцены или притихнут, отступят в тень самые популярные у молодежи певцы — Пугачева, к примеру, или Леонтьев; как ни крути ни верти, а годы свое берут, а потом меняются ветреные моды, нужно что-то новенькое, да и молодежь настырно поджимает, поскольку всем охота хоть маленько походить, покрасоваться в «звездах». Так вот как же им, идущим след в след, затмить сегодняшних «звезд» и самим выпрыгнуть ка орбиту большой эстрады?.. Может быть, вновь обратиться к народной песне, к задушевной лирической, приближенной к народной?.. Да нет, однако. Похоже, что молодежь задушевностью и русской, как и любой национальной патриотичностью, нынче не проймешь, и таким макаром в «звезды» эстрады вряд ли выбьешься. Значит, надо идти тем же путем, каким шли, идут тепе-

решние «звезды», но... надо и перещеголять. И тут мне пришла в голову шутливая мысль: новому эстрадному певцу, чтобы обогнать предшественников, не нужно сердечности, задушевности и даже по-народному здорового веселья — это не в ходу, — не нужно и сильного, красивого голоса — это лишнее, есть микрофоны, усилители, — а нужно, скажем к примеру, во время пения, пусть уж меня простят за грубость, быстро снимать и надевать штаны или юбчонку и зачего-то там во мраке или бегающем свете, в клубах пара вытворять вольными руками. А музыка тем временем будет изображать что-то вроде задышливого шепота, стонов и визгов... Говорят, за границей нечто подобное и было.

Может быть, сатанизм в «массовой культуре» уже неуправляем и неостановим, пока, может быть, он сам по себе не дойдет до последней черты. Но дело-то в том, что нет последней черты, есть лишь последняя пропасть.

* * *

...А вечер на дискотеке шел своим чередом — как отсветы взрывов, светящихся пуль, припадочного мигания прожекторов, метался обезумевший свет цветомузыки, на секунду, другую высвечивая танцующих; они, красные, будто залитые кровью, будто с них заживо содрали кожу, обмирали вдруг перед глазами, словно окаменев после атомного взрыва, потом снова пропадали в грохоте, в надсадном реве новоявленного сатаны и опять являлись глазам на секунду, другую, уже вроде изнелена-прозрачные, утратившие плоть, обращенные в зловещие потусторонние тени. Дискотечный устроитель, лысеющий, с брюшком, молодящийся паренек в дымчатых очках с фирменной наклейкой на стекле... при всяком новом взвизге музыки хватал меня за колено нервными, тонкопалыми и потными пальцами, стискивал и кричал: «О, о, о!.. счас самое мясо!.. самый кейф!..» Мне ничего не оставалось, как раздраженно и бесцеремонно сбросить его руку, напоминающую мне щупальца осьминога. Устроитель же, ничего не видящий, не чующий, придвинулся поближе и стал хвататься в азарте за плечо, а потом ткнул в бок локтем и довольно, с подмигом усмехнувшись, показал пальцем на молоденькую девчушку. Маленькая, сухонькая, про каких говорят: пигалица, была она в очень даже забавной кофтешке: когда размахивала руками, кофтешка разлеталась крыльями, выказывая всю недозрелую и будто уже вянущую на корню грудь и впалый живот. Мне это уже странным не показалось, подивило лишь то, что скачущие пареньки будто и не замечали, будто и в упор не видели наготы своими осоловелыми, опустевшими, точно вытекшими глазами, и я грубовато сказал устроителю, что у нашего поколения кровь была погорячей и такие раздевания много б наделали беды. Устроитель на это опять же с каким-то довольством шепнул мне на ухо: дескать, тут же многие «уколанные или подкуренные», то есть наркоманы. Наркоманы там были или устроитель сказал это для пущего шика, но, подумалось мне, на кой черт нужны здесь «дурь, кумар» — так величают наркотики среди блатных, — зачем они, когда сама музыка, которую я слушал, чистый наркотик?

Во время небольших передышек на белый экран проецировали цветные слайды: рок-группы — придурковатые, как сказали бы в нашей деревне, какие-то извращенные, изможденные парни, девицы, разодетые в какой-то даже не кричащий, а визжащий ворох яркого тряпья. Два меломана-рокера с бритыми головами, в тяжелых очках, с нелепой значительностью вещали об этих рок-группах, нажимая на всякие остренькие, чуть ли не постельные подробности из жизни «музыкантов». Устроитель пытался растолковывать американский рок, глядя на меня с некоторой жалостью, — я ничего не понимал в этом роке, и во мне было яростное неприятие «гула и грохота», который даже, наверно, под пыткой не смог бы назвать музыкой. Тогда устроитель стал доказывать мне, что именно такая музыка соответствует времени, народная для него противоестественна, она просто не вписывается в сам нынешний образ жизни. Я слушал и про себя дивился другому: ведь этот паре-

нек-устроитель закончил факультет русского языка и литературы, изучал, не премину подчеркнуть, сверхгениальное устное народное творчество, те же народные песни, неподвластные времени, слушал лекции по древнерусской литературе, осваивал нашу классическую поэзию (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Кольцов, Есенин...), и все для того, чтобы потом сходить с ума от английских и американских «массовых» песенок... Неисповедимы пути твои, господи! Потом он стал внушать мне, что если не в заграничной, то уж в нашей-то эстраде сколько угодно задушевных и даже патриотичных песен. Для подтверждения он и включил «антивоенную»:

Живи, земля, живи. земля,
И вы живите, люди,

— напористым криком разрешал поющий людям жить, но упреждал «великомудро», что, дескать:

Второй земли, второй земли,
Второй земли не будет! ..

Хоть и убогонько — это видно даже мало искушенному в поэзии,— хоть и без красивого слога, а все ж вроде о святом, о сохранении земли, о мире, но только кричалось это не скорбно и даже без поэтического восторга, а с какой-то нахальноватой развязностью, и потому выходило, что не для того, чтобы породить святое благоговение перед землей, не для того, чтобы опечалить наши сердца скорбью по земле, начиненной смертью, — нет, пелось, кричалось все для тех же «скачек». Какая уж там, господи, скорбь по земле, да гори она синим пламенем; никто и в слова-то не вслушивался — ритм, ритм, ритм и больше ничего! Это походило на то позорное, кощунственное, оскорбительное перед памятью погибших фронтовиков, когда еще недавно в наших ресторанах «прыгали» под песню «День Победы» и пьяными, потными руками хватались за девиц. И дело тут даже не в самой песне — господь уж с ней, с песней, — тут получалось, как во времена монголо-татарского нашествия, когда «поганые», рядами уложив русских дружинников, связанных, раненых, сверху настелив доски, пировали в честь своей победы. Не случайно же на Всесоюзном фестивале рок-музыки одна из групп исполняла «музыкальное сочинение», в котором откровенно прозвучали фашистские приветствия, о чем с великой тревогой говорили писатели на своем пленуме, прослушав пленку со злополучной записью. Да что говорить, сколько святого, вековечного было втоптано и втаптывается в грязь на этих ресторанно-эстрадных сатанинских гульбищах.

Молодежь развлекалась, а мы с устроителем перешли в бар и там взялись спорить. Я стал доказывать ему, что если народная песня и близкая к ней по духу лирическая пробуждают в нас то радостную, веселую, то опечаленную любовь к человеку, и после нее хочется даже поздним вечером обнять человека, помочь ему в чем-то, то вот после таких дискотечных вечеров идешь по темной улице и страх одолевает или, наоборот, отчаянное безумие — тут или тебя кто стукнет, втопчет в грязь, или уж ты кого, потому что нервы на пределе.

— Ну, давайте, давайте, создадим клубы народной песни и пляски; водите хороводы, на балалаечках бренчите, — съязвил он, но тут же спохватился и стал оправдываться. — Нет, я не против народной песни, но время другое. Не надо насильно-то внедрять эти народные песни.

— Какое там насилие! — возмутился я, потому что подобные заявления слышал уже не раз.— Хорошо, если раз в месяц по телевизору включат концерт народной песни и пляски, а вся ваша поп-рок и прочая музыка без передыху каждый день, с утра до вечера. Вот это насилие.

— Ладно, все равно молодежь к нам придет.

— Да уж конечно,— пришлось мне согласиться со вздохом,— дурное дело не хитрое, но заманчивое, по себе знаю. Если ребятишек смалу водкой поить, то уж потом к молоку не приваднишь... И все же интересно, если бы половину дискотек прикрыли, а вместо них народные клубы для молодежи, чтобы молодые пели и плясали то, что пелось и плясалось целыми тысячелетиями?

— Глупо это. Подпольно бы стали собираться. Молодежи надо поразвлечься. А эти народные песни теперь для стариков и старух.

— Но и в народной культуре много же было развлекательного, рассчитанного на молодых. Да песенная, обрядовая культура в основном на них-то и была рассчитана. А веселились-то еще так, что нынешним молодым только позавидовать. Почитай про посиделки, про полянки, про наши праздники: взять тот же семик, святки или масленицу. Дай бог как веселились, и красивее во сто крат, поэтичнее, с обрядами, с тайной...

— Все это ушло, что уж теперь об этом говорить...

Этот разговор наш мог крутиться бесконечно по одному и тому же роковому, трагически замкнутому кругу и стал бы походить на байку про попа, у которого была собака...

* * *

И все же в последний раз нужно повторить: трагедия народа, трагедия государства, когда молодежь перестает хотя бы почитать песни своего народа, потому что вместе с небрежением к песне, ко всей культуре предков-родителей является и небрежение к кровным отцам, матерям, к отчей земле, к родине, и тут до предательства всегда рукой подать. Обращаясь к молодежи, Леонид Леонов в уже упомянутой статье «Раздумья у старого камня» сказал: «Было бы поучительно и занимательно провести на ходу беглую викторину среди подростков, собирающихся у вечерних кафе, перед тем как прошмыгнуться под транзистор по местному проспекту: знают ли они, скорые наследники и отрада наших стареющих, меркнущих очей, что, к примеру, упоминавшийся в старых книгах Калита не имеет никакого отношения к проходному устройству в заборах, а Пересвет и Ослябя не являются фотографическими терминами в смысле неправильной экспозиции? А Россия — это не только кинотеатр на Пушкинской. Известно ли подрастающим деткам, что печально ославленные как притоны разврата и порабощения древние наши лавры и монастыри — Валаам и Соловки, Суздальщина и Троице-Сергиева обитель — служили в старину боевыми и культурными форпостами русской государственности, так что сияние золота на куполах и звон колокольный звали предков наших к деяниям, в некоторой степени обеспечившим их нынешнее благоденствие?

А знать сие надобно потому, что в наш век обесценения хитроумнейших фортификационных сооружений перечисленные обветшалые твердыни могут и сегодня оказаться крепостями похлеще хваленых линий Зигфрида и Манжино. А лучше всего это сравнивается с материнской ладанкой, что вешалась при разлуке на грудь любимому детищу: нерушимое благословение на честный хлеб, на ратный подвиг, на сквозное безоблачное счастьице до наиотдаленнейших внучат. Для вчерашних стариков утратить ее — было все одно что жизни лишиться, а недруги русских знают доныне: как сорвешь с нашего брата гайтан с той бедной наивной вещицей — тут его без рукавиц можно прямо в карман класть, гнуть-ломать на любое непотребство. Пускать на самый поганый ширпотреб. Впрочем, довольно на нашем веку было говорено о ничтожестве беспамятных Иванов и неиссякаемой силе Антеевой!»

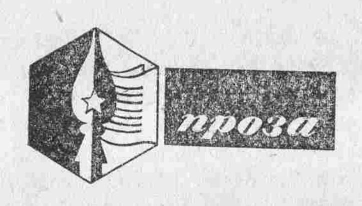
Неужели с нас, плотью вышедших из русского народа, — именно теперь уже вышедших, не оставшихся в народе! — сорвана ворогом материнская ладанка, спасавшая нас от греха и непотребства?.. Неужели вместо материнской ладанки, пахнущей русским духом, подвесили нам магнитофончики-ботала, денно и нощно зовущие ко греху и непотребству, к оплевыванию родных святынь?.. И как тут не сказать вслед за одним из самых песенных русских поэтов нынешнего времени Николаем Рубцовым, который, как Шукшин и Абрамов, до боли и до муки любил Россию и, как Есенин, от боли же, от муки по России и сгоревший:

Россия, Русь —
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы...

В народе раньше говорили: пьяный проспится, дурак — никогда, и мне думается, что и мы просыпаемся, стряхиваем — пусть даже болезненно, с агонией — все бредовое, наносное, порочное. Да благо и то, что многие из нас, молодых, хотя бы осознали, что мы теряем... Недаром даже среди молодежи, несмотря на засилие рок-групп, клубных и ресторанных ансамблей, притонных дискотек, пробуждается, хоть и очень робко, живой, очистительный интерес к русскому фольклору, ко всей нашей отечественной народной культуре, а это может означать — и к жизни в любви, в согласии, в красе.

1986 — 1987



Федор БОРОВСКИЙ



ЦИЦИНАТЕЛА*

ПОВЕСТЬ

I

И дернула же меня нелегкая с Црипой** спорить! Не знаю я его, что ли, крикуна несчастного! На что другое так и нет его, а уж на подначку второго такого в целом свете не сыщешь. И чем брал-то, чем брал, а? Всегда одно и то же: орет, аж в пятках свербит, словно у тебя в голове циркулярную пилу завели.

Вот наградило человека голосом! От целого взвода, наверное, ему одному досталось. Когда он вопит где-нибудь в коридоре или во дворе, звонка на урок не слышно. Его самого вместо звонка приспособить, никто бы никогда на уроки не опаздывал. Подойдешь, нажмешь на нос, он так заверещит, в другом конце города слышно будет. Какие же легкие должны быть в его крохотном теле, чтобы выдувать такой голос. Да он, наверное, из одних легких и состоял. Из легких и из глотки. Нет, еще глаза. Внутри легкие и глотка, а снаружи — глаза. Огромные, черные, огненные. И уж если он наскакивал на тебя, обдавая пламенем взгляда, словно сжечь живьем хотел, и орал так, что в школьных подвалах пыль с потолка сыпалась: «А вот и не можешь!», то как тут было удержаться и не заорать в ответ, безотчетно пытаясь сделать абсолютно невозможное — переорать его: «А вот и могу!»

На это попадались все, кроме Вахтанга Сулханишвили по кличке Занти*. Но Вахтанг это совсем особое дело и особый разговор.

И я попался, уж в который раз.

— А вот и не пойдешь! — верещал Црипа.

— А вот и пойду!..— надрывался я.

— А вот и струсишь!

— А вот и не струшу!..

Црипа был грек по фамилии Ставрос и с грузинским именем Важа. Росту в нем было метр десять или того меньше, даже среди первоклассников попадались выше. Когда шел он в школу вместе с ними, то отличить со спины было совершенно невозможно. По этой причине он малышню терпеть не мог, раздавал им подзатыльники щедро и не задумываясь, они рассыпались кто куда, едва лишь видели его поблизости. Даже те, что переросли головою.

Парень он был сильный, ловкий, и, несмотря на маленький рост, а может — благодаря ему, в год добрался до первого разряда по гимнастике. Наверное, все-таки у него талант был, потому что папа Карло, главный гимнастический тренер городской спортшколы — пожилой, сутулый, ворчливый и, по нашему мнению, не очень добрый человек — был с Црипой отечески ласков, внимателен и терпелив. «Солнце» на турнике крутить штука нехитрая, я тоже умел, но, глядя на мои

---

*Ц и ц и н а т е л а — светлячок (груз.) — стихотворение великого грузинского поэта Акакия Церетели, ставшее народной песней.

** Ц р и п а — пискун (*груз.*).

* З а н т и — тюлень, увалень (*груз.*).

экзерциции, папа Карло только раздраженно бурчал себе под нос: «Бревно...» И в конце концов сплавил меня к легкоатлетам, где я тоже, признаться, особых талантов не проявил. Чего-то мне не хватало. Или наоборот — было в избытке. Росту, например. Рычаги длинные, а ни координации, ни скорости настоящей. То есть в нормальных делах все было в порядке, но на спорт почему-то мало.

— Иди к нам, — говорил Вахтанг, когда у него набиралось энергии открыть рот.

К ним — это значит в борьбу. Но меня борьба не привлекала: пыхтят, сопят, ломают друг другу загривки... Хоть бы побегали, попрыгали, топчутся на месте, как слоны в зоопарке, тоска берет. Нет, я ничего худого сказать о борьбе не хочу. Но уже одно то, что Занти сумел стать классным борцом и даже в первенстве Грузии выступал по юношам младшего возраста, остановило меня. В конце концов я застрял среди боксеров, и надолго.

Здесь было все, чего я искал в спорте: и игра, и риск, и живая подвижность. и, может быть, самое главное — веселый молодой тренер по имени Тимур, не терпевший условностей и этикета. Этикет, конечно, у нас был, но этикет не дипломатического приема или показательного школьного урока, а дружной дворовой компании, сообща занятой увлекательным и важным делом. Ну и много значило, что бокс никому из нас не обещал и ни от кого не требовал скорых успехов. Наши успехи лежали в будущем, а пока нам нужно было расти, накапливать силу, вес, годы, умение не терять противника из виду, когда он заедет тебе по челюсти и искры из глаз сыплются потоком, а голова гудит, как пустой чугунок. Того, что у меня было — рост, длинные руки, упрямство, — вполне покамест хватало, остальное приложится. Остальное нужно было добывать работой и дисциплиной, как говорил Тимур. Что нужно боксеру? Ничего. Только работа и дисциплина. Посмотрите на Николая Королева. Если есть на свете люди, которым в боксе делать нечего, то он из них. Но зато он умеет работать, и сегодня он лучший боксер страны. Потому что он никогда не опаздывал на тренировки и не пропускал их. Кто из вас никогда не опаздывал и не пропускал, поднимите руки. И после этого вы хотите стать настоящими боксерами? Ну? Ты и ты — пунктбол; ты и ты — пневмогруши; ты, ты и ты — на мешки; остальные — скакалка, раунд, бой с тенью — два раунда. Обратите внимание... Ты — на ринг, ко мне на лапы... Он ухитрялся всех тридцать человек пропустить за тренировку через лапы, никого никогда не забывал. Тыкал пальцем в трехминутные песочные часы: все ясно? Все было предельно ясно.

Книжку Непомнящего, собственность самого Тимура, мы зачитали до бесформенных лохмотьев, только что наизусть не выучили. «Крауч» Джеффриса, «солнышко» Демпси... И хотя этот самый «крауч» был всего-навсего ужасно неловкой, низкой закрытой стойкой, которой, наверное, за всю историю бокса никто никогда не пользовался, кроме самого Джеффриса, но зато как звучит! Сегодняшние боксеры такого, небось, и не слыхивали.

Но нам Тимур категорически запрещал пробовать всякие «краучи» и «солнышки». Он ставил нам естественную и красивую классическую стойку, и только из этой стойки мы должны были попадать по грушам и пунктболу. Да попробуй попади в этот окаянный пунктбол, если он от первого же удара начинает метаться как сумасшедший, увидеть-то не успеваешь. Другой раз промахнешься, поймаешь не на кулак, а глазом, лбом или носом и ходишь потом с фингалом целую неделю на потеху всему классу. Хуже всего, что других боксеров в классе не было и никто тебя поэтому понять не желает. Тот же Црипа такой звон поднимет, хоть под парту лезь от стыда и злости.

— Набили, набили!.. — орет и пляшет, орет и пляшет... — Набили, набили!..

— Да никто меня не набил! Это пунктбол!..

Какой пунктбол? Шутите? О такой штуке никто и слыхом не слыхивал, да и не услышит никогда, потому что Црипа своим криком все объяснения заглушит.

— Набили, набили!...

Однажды, выведенный из себя, потеряв последнее терпение, я даже замах-

нулся на него — дернулся по шее двинуть. И двинул бы, но зацепился взглядом за Вахтанга и увидел, что он смотрит своими медленными и ленивыми, какими-то коровьи теплыми глазами и укоризненно покачивает головой: зачем, дескать, такой большой... Ай-ай-ай... Так и не двинул, устыдился. Занти Црипе друг, но он и мне друг, вступаться бы не стал. Црипе почти всегда за дело доставалось, а Занти парень справедливый. Уж если Црипа принялся кого доводить, то, того и гляди, обиженный на него с кулаками бросится. Совершенно невыносимый человек. Хотя, конечно, голыми руками его не возьмешь. В драке он был ловок и упорен и, как бы сильно ему ни доставалось, никогда не считал себя побежденным. Но слишком уж мал ростом. И что бы он там себе ни считал, а получал всегда крепко. Занти иногда мог бы и помочь — с ним-то уж никто связываться не станет, с ним воевать, что с трактором: он года на четыре старше, взрослый уже парень, да к тому же и здоровенный. Но для того, чтобы Црипу выручать, ему пришлось бы вылезать из-за тесной парты раз по десять на дню, да еще гоняться за обидчиками. Он на это был совершенно неспособен.

До сих пор удивляюсь, как это он исхитрился при такой лени и неповоротливости стать хорошим борцом. Какая бы она, эта борьба, ни была, но шевелиться-то все равно надо. Тем не менее так — борец. Зато в каждом классе по два года сидел, даже в первом; только когда с нами повстречался, вдруг на удивление всей школе, а особенно — учителям, сдал экзамены с первого раза и без переэкзаменовки.

К нему в школе уже так привыкли, словно он мебелью стал. Даже лучше — мебель надо ежегодно ремонтировать, а Занти в ремонте не нуждался. Он просто рос, рос, пока не вырос в здоровенного детину, который сам умеет и мебель ремонтировать, и полы красить, и потолки белить. Он стал вечной принадлежностью школы, вечной ее достопримечательностью. Учителя давно примирились с ним с таким, какой он есть, сжились, даже сроднились и, наверное, ужасно бы расстроились, узнав в один прекрасный момент, что он окончил школу и уходит от них навсегда. Впрочем, если ему и предстояло уйти, то случиться это должно было очень еще нескоро.

У него были сильные, ухватистые, умелые руки, способные сделать все на свете, но работали они вроде бы сами по себе, без всякого участия головы. Как говаривал Акакий Габриэлевич, наш грузин, такие безмозглые слоны и в Африке не водятся. Но если верить Акакию Габриэлевичу, то безмозглыми мы были все примерно в равной степени. Даже Витька Халецкий, который в год заговорил по-грузински лучше, чем по-своему, по-хохлацки, и теперь болтал на трех языках — и вперемешку, и по отдельности. Дед Акакий с огромным удовольствием ставил ему всегда пять с плюсом, но тем не менее никогда не забывал удивиться, откуда у такого безмозглого животного такая блистательная способность к языкам. Даже то, что Витька был круглый отличник, не спасало его от ядовитых реплик Акакия. Поэтому насчет качества наших мозгов доверять ему было нельзя, но что правда, то правда — школьные науки давались Вахтангу тяжело. Единственные слова, которые учителям удавалось из него вырвать, были:

— Я учил...

Он всегда говорил эти слова, невнятно бормотал, когда учительское стандартное перо номер восемьдесят шесть повисало над классным журналом, чтобы влепить очередной кол. Этот кол был всегда честно заслужен, потому что Занти никогда даже и не пытался отвечать. Ставь учителя оценки за молчание, он всегда имел бы только наивысшие. Он молчал так добротно, так глубоко и непоколебимо, так спокойно и добродушно, что никому и в голову не приходило, что за этим молчанием может прятаться хоть капля чего-нибудь, безразлично чего.

— Рыцарь без страха и упрека, — говаривал дед Акакий. — Без страха потому, что так молчать может лишь тот, кто действительно ничего не боится, а упрекают всегда только тех, кто говорит. Когда говоришь, можешь и глупость сказать, а молчащий — всегда мудрец, молчание золото.

Мы знали Занти с первого класса. С нашего первого класса, а не с его. Те, с

кем он начинал учиться, уже кончали школу, когда мы, наконец, его догнали. И в первый месяц развлекались, подобно всем, должно быть, классам, в которых он учился и которые миновали его на извилистом школьном пути, шумно обтекли, как обтекает река застрявший посреди течения камень или громоздкий, неуклюжий плот. Дожидались, когда учитель заносил перо над журналом, и стоило Занти открыть рот, как мы орали хором:

— Я учил!..

И смеялись. И учителя тоже смеялись. Да и сам Занти усмехался и медленно, вразвалочку шел на свое место.

Он никогда не обижался, не сердился, да и неспособен был вообще сердиться. Попросту не умел. И нам в конце концов надоело. Этот здоровенный, добродушный и ленивый слон просто не мог надолго привлечь наше внимание. Даже смотреть, как он глубокомысленно и глухо молчит у доски, и то стало неинтересно.

Ну, а может, он ленивым и не был. Может, просто характер такой. Да и неловко ему скакать вместе с нами козлом, взрослый же парень. Работать-то он умел, и хорошо. Когда в школе нужно было что-нибудь прибить, покрасить, собрать или разобрать, выстрогать или выточить из металла, все учителя бежали к нему, и только к нему. Ни один старшеклассник столько не умел, да и вообще ни один человек в школе. Половина кабинетов была оборудована его тяжелыми надежными руками. Разболтанные парты, шатучие учительские столы, на которых тот же Луарсаб Кахиани каждую перемену обязательно плясал «Наурскую», выходили из его рук крепкими, устойчивыми и, казалось, такими же тяжеловесными, как и он сам. Починить, наладить, собрать или разобрать — к Занти бежали все, бежали, не задумываясь, на переменах и во время уроков, и после уроков, если он еще не ушел домой, а если ушел, то бежали и туда, чтобы оторвать от любого дела, даже от еды.

— Вахтанг, быстро!..

И всегда забывали, что быстро — это не по его части. Надежно, прочно, долговечно... Но быстро? Кряхтя, он долго и неловко выбирался из-за парты, из-за обеденного стола, откладывал в сторону лопату, топор или молоток и вразвалочку шел за своим подпрыгивающим от нетерпенья командиром.

— Да быстрее же ты, тюлень!..

В школе всегда все горит и никогда ничего не сгорает. Занти подчинялся приказам с добродушием и охотой сильного, уверенного в себе человека, но бегом не бегал. В такие минуты именно он выглядел взрослым, а возбужденный, расстроенный учитель — мальчишкой. Даже дир — круглый, вальяжный, подчеркнуто неторопливый, слегка высокомерный — терял рядом с Занти и лицо, и возраст.

— Да быстро же, быстро!..

Понятно, почему его все-таки переводили из класса в класс. Он смалу такой был. Учителя вместе с директором справедливо полагали, что не может человек, который так много умеет, ничего не знать. Другое дело, что его знания никак не удавалось измерить школьными мерками. Ну, так оттого он и сидит в каждом классе по два года, в конце концов хоть немного да останется. По второму году его на переэкзаменовках даже и не спрашивали, ставили тройки просто так, лишь бы пришел.

II

Црипа, глядя на его безропотное, добродушное повиновение, из себя выходил.

— Ты что! — орал он, обжигая Занти яростным взглядом и подскакивая возле парты, из-за которой тот мог за целый день ни разу не вылезть. — На тебя кричат, а ты идешь как баран!..

Занти только пожимал плечами и расплывался в медленной, добродушной, немного глуповатой ухмылке. Даже сидя он был выше Црипы и улыбался сверху вниз, слегка склонив голову.

— Баран, баран, настоящий баран! Попробовал бы мне кто-нибудь приказать!

Это верно, Црипе приказывать было бесполезно. Даже папа Карло, авторитет безусловный и абсолютный, ничего не мог от него добиться приказом. Его можно было только просить, иначе назло наоборот сделает. На просьбы же он откликался охотно, это и мы знали, и учителя, и родители. Для папаши Ставроса, такого же маленького огненноглазого

крикуна, сущим наказанием было заставить Црипу что-нибудь сделать. Просить они не умели оба, даже когда дело требует. Какая же это просьба, если на тебя орут во всю глотку, размахивают руками перед носом и таращатся, как фельдфебель на неловкого новобранца. Только фельдфебельских усов им обоим и не хватало.

Сколько раз, перепрыгнув кладбищенскую ограду, еще с улицы я слышал крик в их дворе, и, заглянув в калитку, видел, как отец с хворостиной или ремнем в руках гоняет Црипу по всему подворью, и оба орут так, что стекла в доме отвечают им тонким жалобным звоном. Ей-богу, такой спектакль ни в одном цирке не увидишь.

— Ах ты бездельник!..— орал Димитрий Ставрос и потрясал в воздухе ремнем. — Шкуру спущу! Ноги переломаю! Башку оторву!..

Мы бесстрашно становились у него на пути, бешенство дяди Димитрия было хоть и не показным, но и не опасным. Весь город знал, что папаша Ставрос добрейший дядька, что он ужасно гордится сыном и за всю жизнь его пальцем не тронул, что весь его крик — просто сотрясение воздуха не опасней грома. Гром ведь тоже никого не убивает, это все знают. Если слышен гром, то бояться уже нечего. Убивает молния, но у Димитрия Ставроса молний в арсенале не было. Не то, что у его земляка — Зевса.

— Дядя Димитрий, он не будет!..

— Не будет?..— дядя Димитрий останавливался и втыкал в тебя яростный взгляд, раскаленный, словно только что вытащенный из горна стальный пруток.— Он — не будет? Нет! Он будет!.. Еще как будет!

— Не буду! — орал Црипа, сидя на невысоком заборчике в сад.

— Ах, не будешь!— подпрыгивал отец и кидался к нему, и опять закручивалась сумасшедшая карусель, теперь уже втроем, и крик до небес, перемешанный с пылью, пока вновь не удавалось встать на пути дядя Димитрия.

— Да будет он, будет!

— Не буду! — орал Црипа.

— Ах, не будешь!— орал его отец.

— Да перестань ты, дурак! — орал я на Црипу.

Иногда помогало. Но вообще-то, в этой суматохе и крике всегда было трудно уловить, когда Црипа и в самом деле решал перестать. Он вдруг соскакивал с забора, вприпрыжку шел к нам, а папаша Ставрос шумно отдувался, воздев очи и руки:

— Уфф!..

Нормально разговаривать они не умели оба: и Црипа, и его отец. Самая рядовая, деловая, в общем-то, беседа выглядела у них так, словно они сейчас раздерутся. На три минуты их иногда еще хватало, а потом кто-нибудь повышал голос, и опять начинался гвалт. Было трудно понять, как они ухитрялись среди всего этого крика и звона хоть что-нибудь сделать. Сам-то я, если уж доходило до крика, не только делать, но и думать не мог, ни одной путной мысли в голове. А они — хоть бы хны: вопят, словно их режут, а дело идет, и довольно ходко.

На ихней улице даже глухие деды, гревшиеся на солнышке почти у каждых ворот, даже сопливые грудничкн, жившие своей таинственной младенческой жизнью, до шага, до минуты знали, что и когда происходит у Ставросов во дворе. К ним привыкли, притерпелись и воспринимали спокойно, как грохот проходящих поездов. Если бы на Црипином дворе вдруг затих крик, вся улица сбежалась бы в тревоге: что случилось, эй? почему замолчали? Удивительно лишь, как выносила все это Црипина мать. Она была такая же маленькая, тихая, улыбчивая женщина. Говорила она редко и негромко, словно вполголоса, словно себе самой, но, странное дело, ее всегда было прекрасно слышно, до последнего звука.

— Важико, сыночек, вода кончилась...

Црипа швырял на землю инструмент, отставлял лопату, откладывал садовые ножницы и пулей мчался к уличной колонке, громыхая ведром, едва ли не большим его самого. Наступала благословенная передышка, в голове медленно затихал звон, но до конца затихнуть так и не успевал — колонка была близко, и Црипа скоро появлялся опять, перекосившись под тяжестью ведра.

— Не подходи! — орал он еще с улицы. Не дай бог кто-нибудь захочет помочь.

И все начиналось снова, и снова крик,

и снова звон в голове, только мать успокоительно тихо улыбалась, скользя между ними неслышной легкой походкой.

Вот именно — уфф!.. Но если уж очень утомлял этот беспрестанный крик, если начинала от него болеть голова, то можно было пойти через три дома вверх по той же стороне улицы, к Занти, и там отдохнуть. Вот уж где была тишина! Если, конечно, не считать крика из Цриппиного двора, который по всей улице слышно. Да пускай, все-таки не над ухом.

У Вахтанга во дворе было умиротворение, тихое спокойствие. Его отец, высокий грузный дядька — даже не грузный, а какой-то массивный, тяжеловесный — был так же медлителен и молчалив, как и сам Занти. И так же добродушен. Вылитый Занти, одним словом. Вернее, Занти — вылитый отец. Или еще вернее — будет вылитый, когда вырастет. Ростом они были одинаковы, но рядом с отцом Занти все равно казался щуплым мальчишкой. Да к нему и относились, как к мальчишке, он в семье был младший. Два старших брата, взрослые женатые мужики, жили отдельно, своими семьями, в разных концах города. Когда они собирались во дворе Сулханишвили все вместе, Занти просто терялся среди широченных спин, тяжеленных плеч, бычьих загривков. Такой это был род. Даже дед Сулханишвили по имени Ростом был такой же. Только годы придавили его к земле. У него обвисли плечи, обвисло брюхо, обвисли щеки, ноги не разгибались в коленях, а глаза совсем спрятались под устрашающими мохнатыми бровями.

...Тихо, спокойно. Сядешь и сидишь, и никто тебя не дергает, никто не орет, хоть весь день сиди, хоть весь год, хоть всю жизнь. Они и сами сидят, когда делать нечего, редко, но бывает: дед на улице, на скамейке у ворот, отец на крылечке, а Занти рядом с тобой, на перевернутой колоде, из которой кормят кур, гусей, индюков. Обопремся спиной о садовый плетень и сидим. Такая благодать, прямо растекаешься в этой сонной благодати, расплываешься в кисель и ленивеешь душой и телом. Эта благодать всем, кроме самих Сулханишвили, противопоказана, у нормального человека сердце остановиться может — ему станет биться лень.

Где-то за тридевять земель орут Ставросы, где-то на улице негромко побрякивает боталом и рассыпает легкий топоток вьючный ослик, лениво скрипит немазаными колесами, покряхтывает, погрохатывает неувязанным грузом влекомая буйволами арба, тихо шелестит под головой фигурными своими листьями раскидистый инжир и гоняет по земле и по лицу причудливые тени — сонное царство, океан дружелюбной, мягкой, ласковой лени... Тону, люди! спасите! скажите волшебное слово, расколдуйте!..

— Вахтанг, — сурово говорит ему мать, — ты сегодня занимался?

— М-м... — мычит Занти рядом со мной.

Но мать непреклонна. В сущности, она единственный человек в мире, который может заставить его изъясняться не мычаньем и не междометиями, а нормальным грузинским языком. Они могли бы говорить и по-русски, они все достаточно хорошо знают русский язык, но и я знаю грузинский, нет нужды изощряться в вежливости. В конце концов, я здесь свой.

— Вахтанг, — тверже и строже повторяет мать,— ты занимался или нет?

— Бочка рассохлась, — бурчит Занти.

Мать — высокая статная женщина с суровым резким лицом и царской повадкой. Между грузинками такие встречаются — мельком глянешь, и шея сама гнется в почтительном поклоне. И чаще среднего возраста или пожилые. Молодым чего-то не хватает, бог весть — чего. Ни годы не согнули ее, ни трое битюгов, которых она родила и выкормила, а может быть, наоборот, сыновья и годы и дали ей этот горделивый поворот головы, выпрямили спину, придали походке свободную широту и величавую раскованность.

— Бочка подождет, иди занимайся.

Это значило, что я должен идти вместе с ним и заниматься тоже, безразлично чем. Мы сами могли выбирать. Собственно, выбирать придется мне, на Занти тут рассчитывать не приходится, ему то уж точно все равно. Лето, каникулы... Его родители никак не могли поверить, что в этом году переэкзаменовки не бу-

дет. Так не бывает. Скорее всего, мы просто врем, хитрим каким-то очень сложным и непонятным способом. Может быть, директор школы и смог бы убедить мать, что все правда, все так и есть. но мы не могли. Хотя она прекрасно знала, что для Занти вранье есть вещь абсолютно невозможная. И не потому, что он такой уж сверхчестный, не в этом дело. Просто для вранья нужна другая голова, нужна фантазия, умение выдумывать, и уж вот чего Занти был начисто лишен, так лишен. Когда Црипа сыпал словами, то в его крикливой и ужасно немузыкальной скороговорке пять раз в минуту проскакивала правда, а двадцать пять — выдумки, иногда довольно грубая ложь. Но Занти верил. Он верил всему, даже самым невероятным вещам. Просто потому, что не мог себе представить вранья. Когда ему об этом говорили, его медленная ленивая улыбка становилась немного растерянной:

— Зачем?..

Конечно же, мать это знала. Но у нее в голове не укладывалось, что Занти сумел закончить учебный год с первого раза и без переэкзаменовок. Поэтому она, на всякий случай, все равно заставляла его каждый день садиться за книги. Если при этом случались я или Црипа, или оба вместе, то и нам волей-неволей приходилось садиться вместе с Занти и сопровождать его в блужданьях по запутанным лабиринтам школьной премудрости. С Вахтанговой матерью не поспоришь, даже Црипа помалкивал. Перед ученьем она испытывала священный трепет. Только ее непреклонная воля заставляла Занти обламывать зубы о несъедобные камни науки.

Наши совместные занятия начались еще осенью, с началом второй четверти. И — вот штука-то! — учителями мы с Црипой оказались куда более удачливыми, чем весь школьный синклит. Когда Занти впервые — медленно и косноязычно, с тяжелыми запинками и долгими паузами — вдруг заговорил на уроке грузинского языка, дед Акакий долго не мог закрыть рот. Он смотрел даже и не удивленно, а как-то остолбенело, словно задеревенел весь. Наверное, если бы вместо Занти заговорил учительский стол или классная доска, он изумился бы меньше. Или, может, он и думал, что говорит доска?

Занти читал какое-то стихотворение, не помню какое, возможно даже Акакия Церетели, что-то очень популярное и хорошо всем знакомое, уж не «Сулико» ли? Грузина, который не знал бы «Сулико», не существует. Занти тоже должен был его знать: если не стихотворенье, то песню-то — непременно. Но одно дело знать вообще, а другое — отвечать урок.

Садахар, чемо Сулико?*.

Акакий Габриэлевич долго дул на перо, разглядывал его на свет, стряхивал чернила, потом снова дул, снова разглядывал, обмакивал в чернильницу и снова дул. Потом поерзал на стуле, пожал плечами, несколько раз хмыкнул и вдруг так решительно засадил Занти здоровенную пятерку, что брызги на полжурнала полетели. Потом сосредоточенно и старательно промокнул школьной промокашкой и с треском захлопнул журнал.

— Так, — сказал он, встал и, подойдя к Занти, торжественно протянул руку. — Гора наконец заговорила. Я всегда знал, что ты не только умелый человек, но и говорящий тоже. Счастлив слышать твой голос. Но в следующий раз за такой ответ ты получишь не больше тройки.

Они обменялись крепким мужским рукопожатием. Занти горел как пунцовая роза и от смущения вполне мог раздавить руку, которую пожимал. Но и у деда Акакия, несмотря на худобу, хватка была железная и железная рука. Нам ли этого не знать. От его щелбанов темнело в глазах, и даже меня он мог поднять, как щенка, за шиворот на метр от пола — одной рукой и без видимого напряжения. Поэтому рукопожатие получилось таким, что в гробовой изумленной тишине нам почудился треск ломающихся костей и рвущихся связок. Но расцепились они вполне благополучно и разошлись по своим местам.

С тех пор Занти и заговорил на уроках. Не всегда, но случалось. Достаточно, по крайней мере, чтобы за год вышли кругом тройки, и даже на экзамены хватило.

---

* Садахар, чемо Сулико? — Где же ты, моя Сулико (*груз.*).

...Спасибо Вахтанговой матери. Своим суровым твердым голосом она выдирает меня из горячего болота лени. Обливаясь потом и напрягаясь душой, я всплываю на вялые ноги, сильно потягиваюсь, встряхиваюсь судорожно, как мокрая собака, и сбрасываю сонную одурь.

— Ну чего... Айда?

III

Мы жили не то чтобы рядом, но неподалеку, через кладбище: я — по одну сторону, а они с Црипой — по другую. Мой дом стоял на городской стороне и был еще в городе, а ихние — на закладбищенских выселках, которые никто городом не считал. Короткая пыльная улица, в ненастье становившаяся абсолютно непроходимой, пирамидальные тополя и желтая акация по обочинам, а за ними кудрявая, радостная и гостеприимная зелень садов, среди которых уютно дремлют на кирпичных фундаментах четыре десятка домов. Улица называлась почему-то Задорожной, хотя была не задорожной, а закладбищенской. Железная дорога шла по нашей стороне. Дорога, кладбище, а потом она. Сразу же позади нее начинался рыжий глинистый склон с редкими пучками пожухлой травы, которая, по-моему, никогда не бывала зеленой, а сразу так и нарождалась желтой, сухой и ломкой. Ветер гонял здесь пыльные смерчи, дожди намывали глубокие рытвины, избороздившие гору, как морщины лицо древней злой старухи; одинокие коровы бродили неприкаянно, от пучка к пучку, тщетно разыскивая среди них съедобный листик или травинку.

Улица была старой. Старыми были дома, потемневшие от времени, старыми были тополя, уже вымахавшие метров на двадцать и все тянувшиеся и тянувшиеся вверх, словно хотели проткнуть небо, старыми были сады. Сколько нужно лет или даже поколений, чтобы превратить эту рыжую глину в мягкую как пух садовую пашню, способную принять, породить и вырастить все. В жару глина спекалась в камень, растрескивалась колотой черепицей, одни лишь тарантулы способны были вырыть в ней свои круглые норки; в дождь раскисала тестом так, что нога вязла выше щиколотки. Она сползла вниз, наваливалась на ограды, давила на них, выискивала микроскопические щелочки и трещинки, но ограды стояли крепко: нет тебе сюда дороги, то, что люди взяли пóтом и слезами, они не отдадут обратно, пока живы.

Путь на Задорожную лежал через кладбище. Тенистые печальные тропинки путались среди деревянных крестов, мраморных обелисков, ажурных кованых оград. Выцветшие фотокарточки, золоченые барельефы, имена, даты, эпитафии: «Спи спокойно, дорогой отец...» В одном месте даже ангел стоял: склонив покрытую венком голову, с оливковой ветвью в поднятой правой руке, со сложенными за спиной крыльями. Мы бы и не узнали, что это ангел, но дед Дато сказал, кладбищенский сторож.

— Какой же это ангел, бабуа* Дато? Разве ангелы такие? Они маленькие, пузатые, с маленькими крылышками. Нет, скажешь?

Дед Дато посмотрел в небо, пожевал губами, покачал головой.

— Ангелы бывают всякие. Это ангел смерти Азраил.

Меня так потрясло это — ангел смерти Азраил, что я даже усомниться забыл: что же это за ангел, если он ангел смерти. Не то чтобы мы смерти боялись. Да только на кладбище уж очень это внушительно звучит: «Ангел смерти Азраил». Потом я долго вздрагивал от какого-то противного душевного трепета, когда он неожиданно всплывал над невысоким кустом сирени почти прямо на пути. Черт знает что... Даже тайком от самого себя стал выбирать другие тропы и в конце концов забыл. Как-то задвинулось делами и хлопотами, запылилось, пропало из виду. Вполне вероятно, что просто тропинки стал выбирать покороче, и та, с ангелом, была не самой короткой. Кто их мерил-то? К которой привык, та и короче, совесть моя чиста, это только Црипе, несчастному крикуну, могло взбрести в голову, что трушу встречаться с ангелом. Да и какой он ангел, статуя, вот и все.

Просквозишь между кустами сирени и жасмина, сорвешь на ходу поздний королек у могилы Тэкле Гагричиани — почтенной дамы, родившейся в середине

* Б а б у а — дед, дедушка (*груз.*).

прошлого века, а умершей лет двадцать назад, или гранат у низенькой ограды Сурена Колояна, безвременно погибшего, как утверждала надпись на хмуром сером камне, семи лет от роду — вот не повезло человеку! — вскочишь на невысокий каменный забор и был таков. Даже и не задумаешься иной раз, где бежишь.

Все мы вспоминали, что кладбище это кладбище, только когда слышали музыку или встречали похоронную процессию. После того, как кладбище закрыли, они стали редки, а раньше — каждый день да не по одному разу. Поразительно, сколько умирало людей, и не только во время войны. Во время войны, наоборот, даже меньше. Вообще умирали. Может быть, война как раз и заставила людей напрягаться изо всех сил и не умирать по пустякам, без нужды. Но закрылось кладбище не сразу, а примерно через год, вот в этот год мы и насмотрелись. Процессии шли и шли, петляя по улицам, толпились на закрытом переезде через железную дорогу, утекали в распахнутые кладбищенские ворота. Мы смотрели на них, но не очень печалились. То ли малы были, то ли привыкли. Похороны да и похороны; они текли мимо не задевая, разве процессия была уж слишком велика, и мы любопытствовали — кто? Марш Шопена, приглушенный расстоянием, плыл из-за ограды, из-за густой, сверкающей, даже радостной кладбищенской зелени каждый день, а иногда и по два вместе, с разных концов. Мы этот марш знали все, до последнего такта, совершенно автоматически. Даже Црипа, которому медведь на ухо наступил. Одно время меня удивляло, как это два оркестра играют враз одно и то же и не мешают друг другу, но потом я понял, что их дед Дато разводил в разные концы.

Свежие могилы мы обходили стороной, возле них грязно было. Да и выглядела неприбранная могила на старом кладбище сиротски одиноко и неряшливо. Сколько времени пройдет, пока дед Дато обложит ее дерном, который специально привозили родственники или друзья покойного, пока поставят памятник, пока привьется и окрепнет куст жасмина, вишенка или груша, посаженные у оградки. Впрочем, кладбище росло концами, и наши тропы редко выводили нас к свежим могилам. Не по пути было. Разве что специально придешь поговорить с дедом Дато, который возится возле нее: подметает остатки земли, ровняет холмик, укладывает дерн или поливает хилые саженцы.

— Бабуа Дато, это кто?

Он остановится, обопрется о метлу или лопату и долго смотрит на могилу, что-то неслышно шепча самому себе, — может, молитву читает?

— Приезжий он, русский. Зовут Александр, фамилия Гаврилов. Несладко ему было умирать в чужом краю.

Чудак он был, дед Дато. А разве в родном краю умирать сладко? Но меня тогда волновало другое. Я ведь тоже приезжий, что же, выходит, Грузия и мне чужой край? А Црипе? И он ведь не грузин. Дед Дато задумчиво качал головой.

— Нет, Вы дети, для вас родина не там, где родились, а там, где живете и растете. Эта земля навеки останется твоей, потому что ты на ней вырос. Ты ведь по-грузински говоришь лучше, чем по-русски. А он вырос далеко отсюда, его душа и память были там, здесь ему все чужое.

В одном он ошибался — по-грузински я говорил хуже, чем по-русски, но во всем остальном, наверное, был прав. И я успокаивался, потому что почти не помнил Ржева, из которого приехал и где родился. Да я и там не был своим, и там отец с мамой были приезжими. Да и нет уже того Ржева, в котором я родился, сгорел он в войну, немцы сожгли; теперь там совсем другой город, чужой, с ним меня ничто не связывает — ни воспоминания, на даже метрики, сгоревшие в невывезенных загсовских архивах вместе с городом. И если бы вдруг оказалось, что и в Грузии я чужой, то где же тогда свой? Не знаю как умирать, но жить без родины мне казалось постыдным и позорным.

Вообще, кладбище у нас было богатое. Деревья росли так буйно и так сильно, так всегда могуче плодоносили, что если бы не могилы, не было бы в городе лучше сада, а может быть, и на всей земле. Он не знал засух и неурожаев. Груши, сливы, персики, хурма, инжир наливались здесь до таких размеров, до такой красоты, до такого вкуса, что и сравни-

вать было не с чем. Может, земля, удобренная телами людей, набрала здесь такую плодоносящую силу, а может, в память о них сюда высаживали только лучшие, прекраснейшие сорта. Кто знает...

Без дозволения деда Дато здесь не принято было собирать урожай, да его никто никогда и не собирал. Только мы, разновозрастная пацанва со всей округи. Мы рвали фрукты, чтобы съесть, и только. Если бы кто-нибудь когда-нибудь попробовал ими торговать, не знаю, что произошло б. Но никто никогда и не пробовал, в голову не приходило.

— Бабуа Дато, уже персиками торгуют.

Так было принято — осторожненько подъехать к нему, обиняками, намеком. Если торгуют, то где-то уже поспели, а если поспели где-то, то у нас, на кладбище — тем более. Старый Дато понимал наши хитроумные намеки даже раньше, чем мы успевали их высказать. Он нас словно специально поджидал. Усмехался в бороду и глядел добрыми, слезящимися глазами.

— Где лежат Берикашвили, знаете?

— А разве там есть?

— Давно. Они плодоносят уже третий год, но только нынче набрали силу. Будьте осторожны, деревья молодые, ветки слабые. Не сломайте ничего, не сделайте больно людям, которые под ними лежат.

Словно они были для него живыми. Может, для него на земле никто никогда и не умирал. Мы не очень над этим задумывались — не все ли равно в конце концов. Но просьбы его помнили, и были осторожны, и не пытались скакать по веткам на слабых деревьях. И даже следили за этим сами. Если деду Дато нужно, пусть будет так.

IV

Деда Дато я знал давно, с тех незапамятных времен, когда и времени-то самого еще не было. Для меня не было и для моих сверстников. Был огромный сверкающий мир, наполненный музыкой, тайной, желаньями, страхами, острой радостью движения и тепла. То есть с тех еще довоенных лет, когда я был мал и не имел возраста. Дато и стал одной из тайн того мира, постепенно раскрывающейся и вошедшей в жизнь непременной частью, а может быть — условием. Уже тогда он был стар, космат и мудр. Вьющиеся седые волосы спускались до плеч и не знали ухода, никакой другой гребень, кроме собственной пятерни, никогда, по-моему, к ним не прикасался. Длинная седая борода, высокий рост, широкие костлявые плечи, прямая спина. Но даже и издали его нельзя было принять за молодого. Он уже окостенел весь, одеревенел: ноги не гнулись и шаркали, а наклоняясь, он держался рукой за спину.

Но самым удивительным было то, что он не старел больше. Мы росли, а он оставался все тем же, словно перешагнул какой-то рубеж, за которым начиналась не то вечная жизнь, не то вечная старость. Он помнил по именам все могилы, он помнил, где что растет и когда созревает, он никогда не ошибался и посылал нас всегда только на те деревья, которые именно в этом году лучше всего уродили. Когда изредка случалось заглянуть в его слезящиеся глаза, меня дрожь пробирала. В них были доброта и мудрость и что-то еще такое, чего я не понимал. Словно в бездонный колодец заглянул. Подернутые старческой поволокой, выцветшие настолько, что невозможно угадать их когдатошний цвет, они были похожи на темную градовую тучу: такие же непроглядные, такие же клубящиеся, такие же глубокие. Родственников и близких у него не было, никто его никогда не навещал, не носил гостинцев. Все, кто к нему шел, шел только по делу, все, что ему несли, он заработал.

По делу к нему ходило довольно много народу, каждый день, и зимой, и летом, и в жару, и в ненастье. Когда кладбище еще работало, шли, чтобы договориться о месте для могилы, чтобы посоветоваться, как лучше ее украсить и что над ней посадить. Когда его закрыли, шли с просьбами последить, поухаживать за могилами, просили предупредить, если покосится памятник, иногда — чтобы просто посидел рядом, помолчал сочувственно или, наоборот, поговорил, сказал добрые слова о покойнике, разделил скорбь. Не беда, что при жизни он никого из них не знал. Добрые слова он умел говорить, он, по-моему, вообще не знал недобрых.

Ему несли в качестве платы еду, старую одежду, нательное и постельное белье, свечи, керосин, дрова. Потом нашелся деятель и провел в сторожку электричество, но пришел молодой белозубый монтер и обрезал провода, потому что дед не платил за него. Весть о монтере мгновенно облетела все окрестные улицы, и Задорожную в том числе. К столбу, на котором он сидел, насвистывая веселую песенку, начали сбегаться пацаны. Мы с Црипой примчались среди первых.

— Ты что делаешь, ишак! — завизжал Црипа еще на бегу.

— Слезай оттуда!— заорал за ним и я.

— Слезай, эй, слезай!..

Мы галдели разом, во всю глотку, и кружили вокруг столба, как разгневанные воробьи. Црипа подхватил камень и запустил в монтера, да не попал. Но тот уже и сам кончил работу. Он безмятежно улыбнулся нам, помахал рукой, сложил инструменты в сумку и принялся спускаться. Мы насторожились и молча следили за ним. Он снял кошки, закинул через плечо вместе с предохранительной цепью и повернулся уходить.

— Ты что! — выскочил Црипа. — Почему обрезал?

Тот оглянулся и все так же безмятежно весело и белозубо улыбнулся.

— Не платил, — кратко пояснил он, подмигнул и пошел через железную дорогу, напрямик в город.

— Ишак! — заверещал Црипа, и мы погнались за монтером, неистово вопя.

Црипа бежал первым, мы за ним. Монтер вдруг быстро повернулся, прыгнул нам навстречу, и Црипа затрепыхался у него в руках.

— Пусти!

— Пусти его!..

— Я тебе покажу ишака! — свирепо рявкнул монтер, растеряв свою веселость, и замахнулся.

Один подзатыльник он все-таки успел Црипе отвесить, но зато потом ему пришлось бежать изо всех сил, вместе со своими кошками, предохранительным монтажным поясом и кусачками, позабыв свои роскошные улыбки и песенки, гремя перекинутой через плечо цепью. Он думал только о том, как прикрыть голову руками, он только грязно ругался на ходу и даже не уворачивался — все равно это было бесполезно. Нас уже собралось человек двадцать, и все бежали и бежали новые со всех сторон, в том числе и ему навстречу. Камни летели в него из-за заборов, углов, из подворотен; взбешенные, мы гнали его до самого конца нашей улицы под лай растревоженных собак, испуганное кудахтанье кур, гоготанье гусей, курлыканье индюков, под недоуменные, вопросительные окрики взрослых. Взрослые, конечно, опоздали, как всегда, но, узнав, в чем дело, они не только нас не останавливали а, наоборот, подбадривали. Свет деду, правда, больше так и не подключили.

Он и вообще жил в кладбищенской сторожке на птичьих правах. Просто эта старая развалюха, да еще в таком месте, никому не была нужна. Он поселился в ней когда-то сам, придя неизвестно откуда, и не только прижился, но очень скоро стал необходим и кладбищу, и людям. Он не получал никакой зарплаты, потому что нигде не числился на работе, да и в милиции, кажется, не числился тоже, хотя милиция его прекрасно знала. У них ведь тоже умирали родственники, и они, как все, приходили к Дато и просили помочь — отыскать место, чтобы мать покоилась рядом с отцом, а дядя — рядом с дедушкой. И дед Дато помогал, хотя никто не знает, как ему это удавалось, особенно в старой части кладбища, где могилы стояли тесно. Он был похож на кладбищенского бога — мудрого и доброго, всевидящего и всезнающего. Ведь именно ему удалось сделать кладбище таким ухоженным и таким привлекательным. К нам несли свою печальную ношу со всех концов огромного города, даже с самых окраин, а кое-кто и в завещаниях просил похоронить себя у нас.

Должна была милиция все это знать и, надо полагать, именно поэтому смотрела сквозь пальцы на его самовольное, незарегистрированное житье. Даже во время войны его не трогали, даже в сорок втором году, когда немцы лезли на перевалы Кавкасиони, а сзади, с юга, в мрачной угрожающей тишине смотрели нам в спину турки. А ведь ему очень трудно было бы оправдаться, заподозри кто-нибудь. Поселился без спросу, нигде не зарегистрировался, возле важной же-

лезной дороги... Зачем? Эшелоны считать? Попробуй докажи, что ты не шпион. Но никто его не заподозрил, в голову не приходило.

Правда, выселить его пытались, даже дважды, но это уж было так, от глупости, от неумной, недоброй прыти, суетливого неумения смотреть на людей и видеть их. Один раз это случилось еще до моего приезда, а в другой раз уже при мне, вскоре после войны. То есть выселяли, в общем, без зла, может, потому и не выселили. Менялось кладбищенское начальство, а новая метла чисто метет. Вдруг обнаружился приблудный дед в казенной квартире — порядок? Непорядок. Да еще и непрописанный. И выбрасывались из сторожки нищие дедовы пожитки: позеленевший от старости двухрожковый медный подсвечник, новая чоха, которую дед берег и никогда не надевал, ветхие половики, застиранное белье, алюминиевые миски и ложки, две толстенные книги с тиснеными крестами на потертых кожаных переплетах, с медными застежками... Не знаю, как было в первый раз, а во второй — так. Вышвырнули прямо перед сторожкой на лужайку, которую дед выкашивал серпом дважды в год, чтобы отдать сено кому-нибудь у нас в округе, у кого была корова или коза.

Но не удалось и во второй раз, как и в первый. Не родился еще на свет такой начальник, который сумел бы переорать наших женщин; их луженые глотки и пронзительные голоса годами шлифовались в уличных скандалах.

— Ах ты курица мокрохвостая, бурдюк с помоями, ишак вислобрюхий... — это было еще самое безобидное, что сыпалось на голову растерявшегося кладбищенского начальника, когда толпа разъяренных женщин чуть ли не со всей окраины ворвалась на кладбище защищать деда Дато. Скорые на подъем, как и на язык, они собрались мгновенно, едва лишь слух о выселении покатился от дома к дому, из улицы в улицу. Мужчин было мало, все больше на работе, они помалкивали, но наши мужики, в отличие от женщин, куда легче на руку, чем на язык, — если не считать папашу Ставроса, конечно. Они стояли отдельной кучкой, покуривали, посматривали, поплевывали, но вид их ничего хорошего начальнику не обещал.

Его спасла процессия. Похороны были пышные, и возглавлял их круглолицый человек в черном френче военного покроя, с жестким, пронзительным взглядом узких глаз. Он глянул на оробевшего, сникшего начальника, как на пустое место, и процедил сквозь зубы:

— Все на место. Завтра зайдете в горсовет, к товарищу Цинцадзе, — потом повернулся спиной к нему, почтительно, но твердо взял под руку деда Дато. — Пативцемули* Дато, время не терпит, очень прошу вас...

И повел деда сквозь расступающуюся толпу, а им вслед катился почтительный и благодарный шепоток:

— Горсовет, горсовет...

Денег дед Дато не брал, да ему и не предлагали. Кое-кто говорил о нем презрительно:

— Милостыней живет, как не стыдно...

Но ему не было стыдно. Он был стар, мудр, не боялся ни бедности, ни работы, ни собственной доброты. И злых языков тоже не боялся. Смерть уравнивает всех — и злых, и добрых. Он служил у нее привратником и все понимал, и ко всем был ласков, и никогда ни у кого ничего не просил. Когда Гурген Месхи, подручный холодного сапожника с соседней улицы, с которым они вместе сидели друг против друга в тесной фанерной конуре, при мне отозвался о деде: «Нищий», мы чуть не разодрались с ним, хотя он был много старше и сильней меня.

— А вот своих хоронить понесешь, тогда узнаешь, кто нищий, — сказал я мамиными словами и приготовился к драке, потому что таких слов никто не прощает.

Мне должно было достаться изрядно, но я разозлился до дрожи в животе и кинулся в ссору как в воду — головой вперед. От злости я даже забыл, что Гурген круглый сирота: отец на фронте погиб, а мать умерла от тифа. Его приютил и воспитал Саба Орбели, сапожник, который ужасно гордился своим именем и фамилией. Он утверждал, что полный тезка Сулхан-Сабы Орбелиани. Он выучил Гургена своему ремеслу и приспособил

* Пативцемули — уважаемый (*груз.*).

себе в помощь, когда тот, не закончив шестого класса, бросил школу. Мы не знали, кто такой Сулхан-Саба Орбелиани, можно было бы у деда Акакия спросить, но как-то в голову не пришло.

— А у меня нет своих, — с веселой злостью ощерился Гурген и сплюнул презрительно мне под ноги. — Понял? Мне хоронить некого.

— Есть, — высунул усатую пучеглазую физиономию Саба, дурацкий этот спор происходил возле самой будки. — Или мы тебе не свои?

— Извините, — спятился Гурген. — Я не хотел вас обидеть.

— Скажи этому шелудивому щенку,— произнес в пространство Саба, как будто я не стоял тут же, рядом с ним, — пусть не приходит больше со своими драными чувяками. Я все колодки об его спину обломаю.

— А я вашу собачью конуру сожгу!— в гневе и обиде закричал я. — Сами вы нищие!

И удрал, потому что Саба решительно полез наружу, на помощь Гургену. Да черт с ними. Все равно наши башмаки никогда не ремонтировались. Летом, весной и осенью мы бегали босиком, а зимняя обувь просто не успевала дожить до ремонта: в четыре ноги мы с братом разносили ее в клочья задолго до всяких ремонтов.

Дед Дато был вечной достопримечательностью нашего околотка, а может быть, и всего города. Такой же вечной и непременной, как и само кладбище. И никому никогда в голову не приходило, что он старый человек и рано или поздно должен умереть. Кладбище тоже старое, смешно же думать, что оно от этого может исчезнуть. Даже взрослые, по-моему, когда думали о смерти, то твердо рассчитывали, что дед Дато и их похоронит. Даже если они умрут от старости.

Мы берегли его как умели. По деревьям лазали осторожно, никогда не уклонялись с дорожек, иногда пытались помочь ему ухаживать за могилами. Но к могилам он нас не подпускал.

— Это не ваше дело, — говорил он укоризненно, если мы лезли с помощью. — Уходите. Ухаживать за могилами стариковское дело. Вы еще слишком молодые, чтобы думать об этом, успеете.

Единственное, что он нам позволял,— поливать саженцы, потому что ему трудно было таскать воду.

И потому так было неловко, стыдно, когда за день до того дурацкого спора именно нам с Црипой и выпало огорчить деда до слез. Сами, конечно, дураки, виноваты, и никакого нам не было оправданья: дескать, не хотели, дескать, не думали... Конечно, не хотели. Но если бы хотели, то нас и убить было бы мало. Еще бы да и хотели! А что не думали, так это верно, да только тоже не оправданье. То-то и оно, что не думали. А надо было думать, голова-то есть. Эхма!..

V

Неподалеку от сторожки, словно выбившись из общего ряда на лужайку, стояла одинокая безымянная могила под простым, без украшений, деревянным четырехконечным крестом. Никто не знал, чья это могила; один дед Дато ухаживал за ней, подрезал серпом траву, ставил под крест красные маки, когда они цвели. Изредка, когда случались деньги, он покупал еще какие-нибудь цветы и рассыпал их по приземистому холмику. Только для этого он и отлучался временами с кладбища.

Над могилой рос старый широколапый абрикос, о котором ходили легенды. Говорили, что этот абрикос уже много лет назад был слишком стар для прививок, что он должен был давно умереть или, по крайней мере, выродиться, но дед тем не менее ему прививку сделал, и абрикос снова разросся, ожил и заплодоносил пуще прежнего. Прививка была сделана давно, еще до моего приезда, а может быть, и до моего рождения, дерево уже успело снова заматереть и набрать силу. Оно не было особенно урожайным, зато плодоносило поздно, куда позже обычного для абрикосов сезона, аж в августе. И плоды давало поразительной красоты и вкуса. На всех желающих обычно не хватало, мы специально караулили момент, чтобы хоть попробовать. Он рос на виду у всех на дороге, проморгаешь — оборвут. Когда крупные плоды начали просвечивать нежно-оранжевыми боками сквозь кружево листьев, к деду Дато шли чередой.

— Уже видно...

Дед усмехался и отрицательно качал головой:

— Рано еще, рано...

Допытываться было бесполезно. Он никогда не объяснял и никогда ничего не доказывал. Не веришь — попробуй, только лишний раз убедишься, что он всегда прав. Как он определяет, оставалось тайной — он ведь никогда на деревья не лазал и сам кладбищенских фруктов не ел; у него были свои признаки, свои секреты, он лукаво и мудро прятал их от нас, потому что нам все равно не хватило бы терпенья дождаться зрелости. Только его авторитет, уважение к нему и к его слову и удерживали нас, чтобы не съесть любой урожай еще зеленым.

— Сходите лучше к Ираклию Греми, там уже поспели персики...

Оставалось только оповестить всех, что дед Дато сказал: «Рано», а то кто-нибудь вздумает... И вот так случилось, что сами вздумали...

Мы были втроем: я, Црипа и Занти. Возвращались домой после тренировок. У нас с Занти тренировки были в одно время, только в разных залах, даже в разных школах: он в городской, а я в динамовской. Моя школа была дальше от дома, можно было бы перейти в городскую, но я как-то попал в «Динамо», и было неловко оттуда уходить. Перед Тимуром неловко и перед ребятами. Да и прижился я там уже, было свое место в раздевалке, свои перчатки, про которые так и можно было сказать: «Кто взял мои перчатки?» И никто бы этому не удивился, хотя перчатки, конечно, общие и хранились навалом — ими пользовались и мы, и юноши, и взрослые, и даже мастера. Казалось, там и запах был свой, хотя впоследствии я не раз убеждался, что все тренировочные залы пахнут одинаково: каторжным потом они пахнут тяжелой, изнурительной работой.

Разница во времени у нас с Занти была минут в пятнадцать или двадцать, как раз столько, чтобы не спеша дойти до городской школы и застать его уже умытым, одетым, с прилизанными после душа все еще влажными волосами. Црипа тренировался в том же зале, что и Занти, но немного раньше. Собственно, они и шли друг за другом: сначала гимнасты, а потом борцы-юноши. Когда Занти приходил в зал, Црипа с товарищами уже развинчивали турники, оттаскивали к стенам коней и брусья, укладывали стопкой маты. У них даже и раздевалка была общая. Занти выходил из нее, одетый в борцовки и трико, а Црипа влетел, на ходу сбрасывая гимнастические рейтузы и майку, хватал полотенце, мочалку и скакал в душ. Потом он битых два часа висел на перилах антресолей и болел за Занти во время тренировочных спаррингов.

Так было всегда. Если я почему-либо задерживался — мало ли там что, — они меня специально не ждали, а брели себе потихоньку, а я догонял. Забавно было смотреть на них издалека: здоровенный Занти, вразвалочку топающий по проезжему асфальту рядом с тротуаром, и Црипа, который подпрыгивал рядом, еле-еле доставая товарищу до пояса. Папа с сыночком на прогулку вышли, Пат и Паташон. Только говорить об этом было нельзя — Црипа ужасно обижался. Црипин голос по-мальчишески звенит на всю улицу, за три квартала слышно, как он разговаривает за них обоих. Да и за меня тоже, когда вместе шли. На тренировке наломаешься, как-то не тянет болтать.

Обычно мы заходили на кладбище, а оттуда уже по домам. Полежим на травке под абрикосом, у неизвестной могилы, посмотрим в небо, в путаницу ветвей и листьев абрикосовой кроны, среди которой небо видно лишь маленькими осколками — они то открываются в трепещущей живой зелени, то снова закрываются листьями. Мы с Занти лежали молча, а Црипа звенел беспрерывно вместе с воробьями, синицами, дроздами... Болтал и болтал о каких-то своих гимнастических тайнах и происшествиях, в которых я никогда не мог разобраться. Сгиб-разгиб, мах-размах, сальто-кувырок, всякие там обороты-перевороты, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис перевернувшись... Вис сосиской, одним словом. Занти тоже ничего, по-моему, не понимал. Да Црипе и не нужно было, чтобы его понимали и даже слушали. Из каждого усталость выходит по-своему: из нас она вытекала расслабленным, полудре-

мотным покоем, а из Црипы лилась голосом, потоком звенящих звуков, которые цеплялись друг за друга, складывались в бессмысленные слова, вытягивались в такие же бессмысленные фразы — в одну длиннющую фразу: она бесконечной лентой вплеталась во множество других звуков, которые все вместе и каждый в отдельности звенели вокруг нас.

Отсюда, снизу, лежа на траве и глядя над собой, мы хорошо видели абрикосы, которые когда-то были зелеными и маленькими, неразличимыми среди листвы, а теперь сияли желтым, нежным и загадочным светом, словно бумажные фонарики на новогодней елке. Просто нестерпимо было смотреть на них, на их чистую манящую красоту. Ну сколько же можно, эй? Давно ведь созрели, мы каждый день на них смотрим, скоро падать начнут, а не дай бог — ветер? Тогда вообще не попробуешь, все посшибает. Эко счастье потом паданку с земли собирать. Кто как, а я не подбирал. И брату не позволял. Все же — кладбище. И хотя удобренная навозом и перегноем садовая земля не чище, но тем не менее что-то меня останавливало. Не брезгливость и не боязнь заразы. Скорее уж — инстинктивное убеждение, что все упавшее на кладбищенскую землю принадлежит не живым, а умершим, тем, кто в этой земле покоится.

— Конечно, поспели, — сказал вдруг Црипа без всякого перехода, не сказал, а прокричал, прозвенел, как всегда, но эти слова вдруг выделились из всего остального звона и наполнились смыслом. Они так совпали с моими собственными мыслями, что весь расслабленный покой, полусонная одурь, усталая лень вдруг пропали, словно их и не было. Я сел.

— Пошли деда поищем?

И мы пошли, потом побежали, и я совсем забыл про недавнюю тренировку. А Занти остался. Он все так же лежал на спине, вытянувшись, закрыв глаза, подложив под голову холщовый мешок со спортивной формой. На лице его цвела тихая улыбка, может, он спал и видел чудесный сон. Интересно, что он видит в своих снах? Мы не стали его трогать, пусть лежит.

Трудно было сказать, где сейчас старый Дато. В сторожке его не было, мы видели закрытую дверь, а когда дед дома, она закрывалась только в зимние холода. Мы обежали кладбище по периметру, по окраинам, где были свежие могилы и где всегда возился дед Дато, но и там его не нашли. Тогда мы разделились и прочесали кладбище зигзагами, по всем тропкам, от одного конца до другого. Деда нигде не было. Значит, ушел. За цветами ушел, и неизвестно, когда вернется, потому что неизвестно, когда ушел. Он ведь может ходить полдня или целый день, до самого вечера. Будет обходить дом за домом, из калитки в калитку, из двора во двор, может и до базара дойти. Ему нипочем полдневная жара, злые собаки и злые хозяева. По каким-то своим тайным приметам будет выбирать цветок за цветком, по одному, по два, будет осторожно перебирать корявыми негнущимися пальцами хрупкие, нежные стебельки и платить не торгуясь. Иногда ему будут отдавать бесплатно, потому что его многие знают и знают, для чего ему нужны цветы — разве жалко такому человеку, как дед Дато, пары цветков, пусть самых дорогих и редкостных. Он будет принимать с поклоном и тихой благодарностью.

— Гмадлобт, гмадлобт*...

Мы приплелись обратно к Занти, присели возле него. Он все так же лежал на спине с закрытыми глазами и улыбался.

— Э... — сказал Црипа. — Ушел... Теперь когда вернется!

В его голосе была досада, словно дед Дато провинился перед нами. Я только вздохнул. Хоть и не провинился, а все равно жалко. Сейчас никого нету, а вечером толпа набежит, тогда попробуешь, как же... Да еще кто-нибудь деда по дороге встретит... Или сиди и карауль. Когда этот абрикос поспевает, время измеряется не днями, а часами, даже минутами. Бывало уже. Тот же Црипа будет крутить у тебя перед носом последний абрикос и дразниться, орать, прыгать, забавляться твоей досадой, у него не заржавеет. Самое надежное, конечно, просто посидеть здесь или полежать, как Занти, дожидаясь деда. Но, во-первых, неизвестно, разрешит он или опять скажет свое: «Рано», а, во-вторых, есть хочется, после

---

* Гмадлобт — спасибо (*груз.*).

тренировки-то — до вечера ноги протянешь.

— Совсем поспели, — непривычно тихо и уныло сказал Црипа. — Что, я не вижу, что ли? Все равно он разрешит.

Занти приоткрыл один глаз, перестал улыбаться и неразборчиво что-то укоризненное промычал.

— Разрешит! — гневно закричал Црипа, вскочил и запрыгал возле его головы. — Я говорю — разрешит! Чего мычишь!

Занти пожал плечами и закрыл глаза. По его лицу снова разлилась все та же умиротворенная, тихая улыбка. Да, конечно, разрешит, чего тут думать-то! Так этого захотелось вдруг, что под ложечкой засосало и в рот побежала жидкая слюна с непередаваемо нежным, мягким абрикосовым вкусом — с памятью этого вкуса, которая сохранилась еще с прошлого года и с предыдущих годов—сколько их было-то? Я и не думал никогда, что эта память так крепко во мне сидит.

— Да, конечно, разрешит! — закричал я вслед за Црипой, и так это было естественно, и так понятно всему свету, так легко и прочно вошло в душу, в сердце, что как-то сама собой стерлась, распалась граница между «разрешит» или «уже разрешил». И у меня, и у Црипы.

— Ну и все, да? — крикнул Црипа.

— Все! — закричал я в восторге, что все так легко и просто и совесть наша будет чиста — разрешил же!

— Ага?

— Ага!

И уже ни о чем больше не думая и ни в чем не сомневаясь, мы в мгновенье ока взлетели на дерево. За Занти можно было не переживать, он к этим вещам относился спокойно: подумаешь, абрикосы... есть — хорошо, нету — тоже хорошо, все они одинаковые. Ну и пусть себе лежит.

Мы лазали с ветки на ветку осторожно и не торопясь. Ну конечно же, все правильно. Мы были первыми и, значит, наша доля будет больше всех. Остальным тоже надо оставить, но и себя не обидеть, и мы выбирали плоды покрупнее и пооранжевее. Они были не желтые, а чуть скрасна — такой ровный, радостный цвет, без румянца. Абрикосы уже поспели, от легкого нажима пальцами они расползались по шву на две ровные половинки, и косточка выходила чистая, сухая, гладкая. Косточки мы складывали за пазуху, под майки (потом съедим, они тоже вкусные, у этого абрикоса горьких не бывает).

Мы успокоились совсем и неторопливо, со смаком, съели десятка, наверное, по два. Пора было слезать. Я потянулся за последним, после которого хотел позвать Црипу вниз, а если он не захочет, то все равно спускаться, хватит. Я стоял, держась кончиками пальцев за верхнюю, довольно тонкую ветку, вытянулся вперед, наклонился вслед за протянутой рукой и в этот момент увидел деда Дато. Он шел от ворот с букетом в руках и был совсем уже недалеко, рядом, и смотрел на нас, подняв голову. Ветер развевал его седую гриву, рядом с белоснежной бородой алые тюльпаны казались окровавленными.

— Атас! — пискнул наверху Црипа и упал мне на плечи.

Я потерял равновесие. Рука, державшаяся за ветку, инстинктивно сжалась, под треск ломающегося дерева, под шелестящий негодующий свист не то листьев, не то воздуха в ушах мы пролетели сквозь крону, сквозь хлещущие ветки и рухнули наземь, прямо под ноги деду Дато. Упали мы метров с трех, может и больше. Когда я пришел в себя, то оказалось, что лежу ничком и вижу перед собой траву, а на ней дедовы чувяки из старой автомобильной покрышки, с загнутыми острыми и длинными носами, стянутые разлохмаченной веревкой. Возле самого моего лица, возле дедовых чувяков, на траву и на мою голову падали красные цветы, с легким шорохом и стуком, как дождь. Господи боже ты мой, умер я, что ли, что он на меня цветы сыплет? А как же мама, брат, Тимур — все? Я подвигал руками и ногами, они послушно шевелились, царапая землю. Да нет, вроде бы живой. Голова гудела, в ушах стоял звон. Я никак не мог понять, где у меня болит и болит ли вообще. Может, я ниоткуда и не падал? Было такое ощущение, будто по мне проехал паровой каток и расплющил в блин. Сломать ничего не сломал, но в землю вмял по самые уши, и неизвестно, смогу ли я теперь когда-нибудь выбраться и встать. Я перевернулся навзничь и сел. Да нет,

ничего, похоже, жив и даже цел. Поднял голову, посмотрел вверх, там абрикос как ни в чем не бывало шевелил листьями, процеживая сквозь сверкающую крону солнечные лучи и небесную синеву. Зажмурился, снова раскрыл веки — Црипа рядом сидит в такой же позе и таращит на меня ошарашенные глаза, от изумления ставшие еще больше, потерявшие огненный блеск и вдруг приобретшие необыкновенную какую-то страдальческую глубину.

— Бичебо*,— позвал нас сзади голос деда Дато.

Мы сидя повернулись в разные стороны — Црипа через левое плечо, я через правое. Дед Дато стоял перед нами на коленях и смотрел как-то странно, с тягостным, напряженным недоумением. Мы молчали все трое, а перед нами лежали в беспорядке красные цветы. Я попытался заглянуть в дедовы глаза, чтобы понять, сердится ли он, но ничего понять не сумел. Он смотрел даже и не на нас, а между нами, в пространство, неподвижным взглядом, его дымчатые слезящиеся глаза с красными веками были как всегда непроглядны и глубоки. На лбу у него собрались гармошкой от поднятых бровей до волос продольные складки, рот растянулся, и по щекам от крыльев крупного с горбинкой носа, загнувшегося почти до губ, расходились к углам рта две длинные морщины и терялись в путанице бороды.

Нет, он не сердился. На его лице был не гнев, а именно недоумение, словно он пытался что-то понять и никак не мог. Потом его лицо медленно разгладилось, он прикрыл глаза веками и вздохнул. Верхние веки вдруг оказались не красными, а бледными, морщинистыми, какими-то прозрачными, как пленка на птичьих глазах. Он открыл глаза, улыбнулся своей доброй, немного насмешливой улыбкой, протянул руки и поймал нас обоих за головы — меня правой рукой, Црипу левой. Помял нам темя, затылки, повертел наши головы в одну сторону, в другую, наклонил, потискал шеи, плечи, поймал за руки, сразу за обе, согнул, разогнул, ноги — согнул, разогнул, одну, другую... Мы покорно подчинялись, и только когда он впился пальцами в ребра и перебрал их, как рояльные клавиши, когда начал мять нам животы, мы задергались и захихикали, потому что оба боялись щекотки. Проделал он все это сосредоточенно, быстро, внимательно, пальцы его были сильны, жестки, как деревянные, но как-то бережно, нежно осторожны, и было даже приятно.

— Э?.. — с непривычной тревогой сказал сзади Занти.

— Ничего, — дед Дато снова усмехнулся и покачал головой. — Целы. Ну-ка, встаньте.

Мы встали. Целые-то целые, но все равно какая-то неестественная вялость в теле, слабость в ногах. Такое впечатление, что они сейчас перестанут держать, подломятся и мы рухнем обратно на траву, на цветы, лежавшие перед дедом Дато. Он спокойно, непроницаемо смотрел на нас, подняв голову. Я крутнулся на одной ноге, меня шатнуло, но все-таки устоял и оказался нос к носу с Занти. Он смотрел на мою правую руку, его лицо было таким угрюмым, таким мрачным, таким грозным, что у меня сердце оборвалось. Кто бы мог подумать, что у Занти бывает такое лицо, кто бы мог поверить, что он умеет сердиться! Сведенные к переносице, нависшие брови, окаменевшие скулы, вытянувшийся в ниточку рот словно прорезанная ножом щель. Я медленно поднял руку, посмотрел на нее и с ужасом увидел зажатую в кулаке абрикосовую ветку. Ту самую, за которую держался, когда заметил деда Дато. Она торчала из кулака вверх сколом, листьями к земле. Да как же я ее раньше не видел, когда дед Дато сгибал и разгибал мои руки? А может, это не моя рука, не мой кулак? Да, да, конечно, не моя, я должен был раньше увидеть эту ветку, обязательно должен был. А чья же тогда? Господи боже мой, сделай так, чтобы эта рука оказалась не моей, а чьей-нибудь — чьей угодно! Пусть ветка выскочит из кулака, взлетит на дерево и снова прирастет туда, где ей место! Пусть я провалюсь сквозь землю и скроюсь с глаз у этих людей, которые все видели и все знают! Пусть они больше ничего не видят и не знают, пусть все забудут!

Занти медленно поднял руку, вынул из моего безвольного кулака ветку и

* Бичебо — мальчики (*груз.*).

сильно, наотмашь хлестнул меня ею по плечам. Потом с другой стороны — Црипу. Мы даже не уклонялись. Было не больно, но стыдно, оскорбительно. Как щенков нашкодивших... И правильно, поделом. Даже мало. Еще бы кулачищем своим пудовым заехал, в самый раз, чтобы потом можно стало в глаза людям смотреть, чтобы осталось в памяти: вот получил по шее и вся вина долой. Искупил, так сказать, как штрафник.

— Не надо, — тихо и как-то устало сказал дед Дато. Непривычно устало, оп никогда таким усталым голосом не говорил, даже когда на самом деле сильно уставал, а такое случалось часто — он же старый человек. — Дай сюда.

Занти послушно, все с тем же угрюмым, мрачно-грозным лицом, протянул ветку за наши спины, она пошелестела там у деда в руках и стихла.

— А теперь идите домой, — так же тихо и так же устало сказал дед Дато. — Прилягте и полежите. А завтра приходите, у меня есть отвар. На всякий случай...

Занти угрюмо кивнул.

— Мшвидобит*, бабуа.

— Мшвидобит, бичебо, мшвидобит...

Мы даже не решились на деда посмотреть. Црипа плелся вслед за Занти как побитая собачонка. Может быть, впервые в жизни он не прыгал и не чирикал воробушком. Он молчал, опустив голову, даже плечи понурились — это при его-то гимнастической выправке! Такой стал маленький — смотреть больно. Да и у меня вид был, наверное, не лучше. Мне давило душу, и она сама на меня давила, что-то поднялось к горлу, комом.

От ворот я оглянулся. Ребят уже не было, дед Дато стоял на коленях. Голова его была опущена, плечи согнуты, ветерок развевал седые кудри, взвихривал, трепал вокруг головы подвижным серебряным сиянием. Я повернулся и пошел назад. Зачем? До сих пор не могу понять. А тогда — понимал? И этого не знаю. Пошел и все. Может, извиниться хотел, может, увидел что-то в его согбенной, коленопреклоненной фигуре, в развевающихся серебяным сиянием волосах. Не знаю, ничего не знаю.

Я брел тихо, неслышно, он меня не заметил. Я остановился сбоку и немного сзади, остановился и замер. Дед Дато плакал. Цветы лежали перед ним, уже собранные в букет, алыми головками наружу: сверху, поперек стеблей лежала сломанная мной ветка. Дед Дато гладил ее жесткой негнущейся ладонью, гладил нежно, ласково, как гладят больного ребенка, и плакал. Он не рыдал, не вздыхал, не всхлипывал. Слезы катились из глаз, повисли на кончике длинного горбатого носа и падали вниз, на ветку, на гладившую ее руку. Я долго стоял не дыша. Секунду? Минуту? Час? Не спрашивайте меня.

— Помоги мне встать, — сказал вдруг Дато.

Я вздрогнул. Он видел меня. Знал, что я здесь, что я вернулся. Я молча подошел, подставил плечо. Он жестко и сильно вцепился в него, повис, поднимаясь. Был он страшно тяжелый, словно вся тяжесть земли влилась в него, чтобы повалить меня, придавить, расплющить, но я даже не пошатнулся. Не имел я права падать или шататься.

— Спасибо, — по-прежнему тихо и устало сказал он. — Собери, пожалуйста, цветы.

Я собрал, протянул ему. Вместе с веткой, будь она проклята. И она, и абрикосы, которые я съел. Он взял цветы, посмотрел на меня, улыбнулся. Он уже не плакал. Следы слез еще виднелись на носу, щеках, в бороде, но он уже не плакал. Только улыбка была не его. Не такая была улыбка, как всегда. И добрая, и рассеянная, куда-то в пространство, и мне, и не мне, словно кто-то еще стоял за моей спиной, невидимый, неведомый, загадочный. Мне хотелось оглянуться, но я не оглянулся, испугался. Никого там нет, позади, а все равно страшно — кому он улыбался?

— Иди, — сказал он так же рассеянно. — Иди, мальчик. Завтра придешь.

— До свидания, дедушка.

— До свидания, дорогой. Иди.

Я пошел и больше не оборачивался.

VI

И опять пришел. На другой день, как он и просил. Мы пришли вместе с Црипой. Не за отваром, конечно, зачем он

* Мшвидобит — до свиданья (*груз.*).

был нужен, этот отвар, ничего с нами не случилось. Ну, побаливало маленько, ломило кости, как при температуре, да пустяки, есть о чем говорить... Даже синяков не было. Я зашел за Црипой, и мы пошли. Только сначала помог приколотить десяток штакетин к забору, взамен старых, уже сгнивших и пущенных на дрова.

Црипа был тих, молчалив, прятал глаза. Папаша Ставрос никак не мог понять, что случилось с сыном, и тревожно, обеспокоенно задирал его:

— Эй, ты что?

— Ничего, — бурчал Црипа.

— Ладно, — соглашался отец. — Ничего так ничего.

Но хватало его на минуту или две и опять:

— Эй, ты что?

— Ничего...

Мы все втроем колотили эти штакетины, и так было тихо во дворе, что пока приколотили, человек десять заглянули в калитку. Всунет голову в приоткрытую щель, внимательно осмотрит двор и обязательно спросит:

— Что случилось?

— Ничего не случилось! — кричал Димитрий Ставрос. — Все живы-здоровы.

— А-а... — и голова скрывалась.

Но когда мы, наконец, закончили, когда скрылась в калитке последняя голова, Црипин отец не выдержал.

— Эй! — завопил он и швырнул молоток оземь. — Идут и идут с самого утра, собаки на них нет! Говори, что случилось! Быстро!

— Ничего, — пробурчал Црипа. — Я гулять пойду.

— Я тебе покажу — гулять! Говори — что! Набили? Упал? Нашкодил?

— Нет, — угрюмо упирался Црипа. — Почему гулять нельзя?

— Дядя Димитрий, — вторил я ему, удивляясь про себя, как точно он все угадал: и упали, и нашкодили. Как они, вообще взрослые ловко все угадывают... Посмотрит на тебя — и вроде бы ты перед ним голенький и прозрачный. Но — что угадывают, а что и нет, не дрейфь. — Ничего у нас не случилось. Правда. Хотите — землю съем?

Но подошла Црипина мать, глянула ласково, и есть землю не пришлось.

— Пусть идут, Димитрий, — мягко сказала она.— Каникулы скоро кончатся, а мальчик сегодня носа со двора не высунул.

— Э-э... — досадливо всплеснул руками дядя Димитрий. — Еще навысовывается.

Но это уже было разрешение, и мы мгновенно испарились.

Дед Дато сидел на крылечке, сложив на коленях темные, тяжелые, как земля, руки, расправив плечи, выпрямившись. Чистый гренадер. Это была привычная поза, он мог так и час сидеть, и два сидеть, и смотреть в пространство перед собой. Увидев его, я вздохнул облегченно и не то чтобы успокоился, но обрел снова утраченное вчера душевное равновесие. Вчера я увидел в деде что-то такое, чего и понять не мог. Или —мог, но боялся. Потому что сам этому чему-то и был виною. Ну, пусть вместе с Црипой. Да только своя вина и остается своею, сколько бы народу ее с тобой ни разделяло. Хоть миллион — разве ты от этого будешь меньше виноват? Но сегодня дед был как дед, ничего особенного, померещилось, должно быть, с перепугу.

— Гамарджобат*, — первым приветствовал он нас, глядя сверху вниз со своего крыльца, как с трона.

— Гагимарджос**, бабуа, — неуверенно ответили мы и смотрели на него, не зная, что делать дальше.

Чего мы, собственно, пришли? То есть мы знали, конечно, зачем, но это знание как раз и подсказывало, что незачем. Пока шли, не думали, а пришли, и стало абсолютно ясно, что незачем. Через месяц бы, другой, когда все уляжется, успокоится, забудется. Но мы пришли сегодня, не через месяц, и оттого испытывали неловкость и замешательство, хотя вроде бы с дедом ничего и не случилось. Может, мы это и хотели узнать, несмотря на неловкость?

— Сейчас, — сказал он и поднялся, кряхтя и упираясь ладонями в поясницу. — Сейчас принесу.

Он ушел в дом, а мы с Црипой по-

---

* Гамарджобат — здравствуйте (*груз.*).

** Гагимарджос — будь здоров — ответное приветствие (*груз.*).

смотрели друг на друга. Отвар? Да на кой он, этот отвар. Противный, небось, скуловорот — лекарство же. Но не наша была воля выбирать. Даже если и наказанье. Именно потому, что наказанье. Его себе не выбирают. Мы только вздохнули и немного поколебались, кому первому принять у деда алюминиевую кружку с прозрачной светло-зеленой жидкостью, пахнувшей аптекой. Потом я протянул руку и взял первым.

— Все?

— Пополам.

И то хлеб, хоть не все. Я отпил немного, заглянул в кружку, снова отпил, снова заглянул. Поколебался маленько, снова отпил, протянул Црипе. Горечь была жуткая, хуже акрихина.

Можно было Црипу обжулить и выпить меньше половины, скажем — треть. Перед дедом Дато он бы спорить не стал. постеснялся. Но именно потому я постеснялся сам. Возмутился собой. Зачем ты тогда пришел, эй! А то не знал, что будет горько! Вчера нашкодил, а сегодня опять... И Црипа ведь так же мог сделать, тем более, что это вполне в его характере — обжулить, а потом орать на всю округу, хохотать и тыкать пальцами: дескать, посмотрите на дурака... Но сейчас даже ему в голову не пришло. Эх ты...

Я старался, чтобы меня не передернуло от горечи, но не получилось. Наверное, проступило все-таки, дед Дато усмехнулся чуть заметно — нет, все же что-то с ним не то, он должен был сильнее усмехнуться, открытее, не так в себя. Эта его добрая, лукавая усмешка всегда была наружу, без остатка, а сейчас он словно прятал ее, выпустить не мог, не шла она из него, даже и через силу. Или нет, не так... А как? А бес его знает — как. Не так да и все.

— Бабуа, — неожиданно для себя сказал я. — Ты прости нас, пожалуйста, мы больше не будем.

Он посмотрел задумчиво, покивал головой и снова усмехнулся. Как всегда! Дурак я, дурак, опять примерещилось невесть что... Ну, смотри же внимательно, смотри, эй!

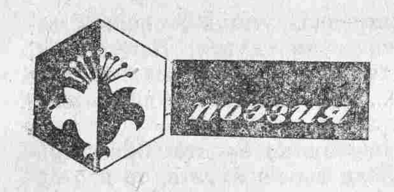
— Нет, почему не будете. Обязательно будете. Если вы не будете, то кто будет? Только не падайте больше. И вам лучше, и деревьям, а уж о ваших матерях я и не говорю.

Я покосился на Црипу. У него опять загорелись глаза, он опять полыхал огненным взглядом, смотрел на деда Дато — теперь дедова пришла очередь быть прожженным насквозь, сгореть в пламени Ставросовского фамильного взгляда. Только деду выпало гореть не в пламени негодования и гнева, и в светлом огне радости и свободы, может быть — счастья. Я даже позавидовал ему. На меня ни Црипа, ни его отец так никогда не смотрели. Да и никто, кажется, не смотрел, даже мама. Наверное, это очень приятно, когда на тебя так смотрят. Дед Дато это заслужил, а я? Стань таким, как дед Дато, и на тебя будут так же смотреть. Вопрос только — нужно ли для этого дожить до дедовых лет и отрастить седую бороду?

— Бегите, — сказал дед Дато. — У Берикашвили созрели персики, через два-три дня падать начнут. Завтра снова придете за отваром.

И мы побежали. И опять Црипа прыгал козлом и вызванивал фальшиво какой-то бравый марш во всю глотку, настолько фальшиво, что было и не узнать песню. Меня смех разбирал его слушать, я хохотал, едва ли не громче самого Црипы. Хорошо все-таки на свете жить, ейбогу! Солнце светит, и воздух горяч и легок, словно мы и не на кладбище. Ну, допустим, в парке понаделали памятников и оград, понатоптали . путанных тропинок, понасажали цветов...

(Окончание в следующем номере)





Владимир СКИФ

РОДИНА

ВЕНОК СОНЕТОВ

1

О Родине, о смысле бытия
Поговорить бы с другом и с любимой...
Но друга нет и стала нелюдимой
Внимательная женщина моя.

Смотрю на мир — в нем тучи воронья,
И свет избы, и русский дух незримый.
Над пашнями, над щеткою жнивья
Висит пространства круг необратимый.

Открыть однажды, а потом пройти
Неторные, но верные пути:
Вот смысл, который не постичь вначале.

О том, чтоб только душу взаперти
Мы не держали, дали ей взрасти,
Мне думается долгими ночами.

2

Мне думается долгими ночами
О памяти народа, о войне,
Как в каждом русском, маются во мне,
Не утихая, русские печали.

И снова топит боль свою в вине
Угрюмец с молодецкими плечами...
И за него мне горестней вдвойне!
Забыто разве, что мы означали?

И наш размах российский плясовой,
Обряды наши и фольклор живой,
И то, как наших предков величали!

Опять над полосою межевой,
Над древней башнею сторожевой
Сегодня больно журавли кричали.

3

Сегодня больно журавли кричали.
Мне снова до рассвета не спалось.
Беззвучно время за окном рвалось,
Цветы тревожный запах источали.

Меня со мной как будто разлучали,
Казалось, в доме поселился гость.
Забытые мелодии звучали,
Но поутру все стихло, улеглось.

Я ощутил неведомый дотоле
Прилив любви и к журавлям, и к полю,
И пробудился, и подумал я:

Как можно жить без русского приволья,
Без темного таежного раздолья,
Оставив сердцу милые края?

4

Оставив сердцу милые края,
Знакомая, что родом из Иркутска,
В Париж умчалась... Заманили чувства:
Любовь к французу. Бог ей судия!

Ей чудится ангарская струя
И город мой, размеренный и грустный.
Но милая французская семья
Не позволяет оставаться русской.

Она живет и жизнь свою итожит:
По-русски «мама» дочь сказать не может,
И нет уже от горечи житья.

Она взывает: «Господи мой боже!
Нет ничего, что есть тебя дороже,
Россия ненаглядная моя!»

5

Россия ненаглядная моя,
В себя ты столько мудрости вместила!
Наверно, нет живительнее силы,
Чем гордая история твоя.

Твой сын, твой русич, вскромленный с копья,
Тебе служил с рожденья до могилы.
Под шелест лип, под говорок ручья
Он присягал своей Отчизне милой.

Горячие бессмертники цвели,
В тяжелый грунт ступали костыли,
Мы к памятникам грустным привыкали...

Петро с Иваном, вы меня спасли!
Моя земля, повсюду, где могли,
Меня твои просторы обласкали.

6

Меня твои просторы обласкали,
Суровая, колючая Сибирь.
Твой Аввакум — железный поводырь —
Воспел твои нетронутые дали.

Но и сегодня — жив еще снегирь!
Еще поет над сталью магистрали!
Хотя растет за пустырем пустырь,
И даже — на Даванском перевале.

Мы — судьи века, мы — его занозы.
И если где-то вспыхивают слезы,
Вина не чья-то, а уже моя.

Под стук колес, под горькие прогнозы
В свой чистый край, где сосны и березы
Вновь из поездки возвращаюсь я.

7

Вновь из поездки возвращаюсь я
Туда, где кровли низкие провисли...
Опять меня сомнения загрызли:
Где совестливость наша и моя?

Пять метров от Байкала до жилья,
Где я толку встревоженные мысли.
Как чашечки земного бытия,
Я два ведра несу на коромысле.

Живая не расплещется вода,
Не сгинут омулевые стада,
Но и вопросы исчерпать едва ли!

В пяти шагах байкальская слюда,
Но я иду, как будто сквозь года,
В байкальский домик с думой о Байкале.

8

В байкальский домик с думой о Байкале
Приедет гость желанный из Москвы,
Порывистый до звона тетивы,
С лицом славянским... Встанет на причале.

— Счастливцы,— скажет,— богатеи вы!
Вы красоту великую познали!
Да! Мы среди тайги и синевы
Себе судьбы иной не выбирали.

Подует хлесткий ветер с Маритуя,
Поднимет волны, небу салютуя,
Московский гость застынет, не дыша.

Сорвет с куста рябину золотую,
Проговорит, как истину святую:
— За Родину тревожится душа!

9

За Родину тревожится душа,
За тишину болезненного века,
За душу молодого человека,
За трудное рожденье малыша.

В осенний лес вступаю не спеша.
Он лечится от нашего набега,
В нем падают снежинки, мельтеша,
И образуют радугу из снега.

Живою плотью, мне природой данной,
Я призываю род людской престранный —
Творить добро без пули и ножа.

И миг придет, и мир сойдет желанный.
Навстречу мне с березы осиянной
Последний лист снимается, шурша.

10

Последний лист снимается, шурша.
И птица, слух мой прелестью лаская,
Свистит в лесу, а может, городская
Поет во мне угрюмая душа.

Порою не имею ни гроша,
Но не важна мне суета мирская.
А вот реки бегущая межа
Важнее, чем одежда дорогая.

С ее лица нам воду пить и пить,
Хрустальный лед буравчиком пробить,
Чтоб хариуса выловить тугого.

И поколенье — новое — любить!
Но скоро нам придется отступить,
Освободив дорогу для другого.

11

Освободив дорогу для другого,
Я тоже, как и все, посторонюсь,
Талантливому тихо поклонюсь,
Вот только бы не проглядеть такого.

О юные! Чужда вам ваша грусть.
Но вы читайте Бунина, Лескова!
Любите их! Любите нашу Русь,
Россию Достоевского, Толстого!

Войдите в мир, где светлый русский гений
Себя искал в минуты озарений,
Не окунаясь в омут кутежа.

О поколенье ветреных мгновений!
Учись любви у прежних поколений,
Свои дела для Родины верша!

12

Свои дела для Родины верша,
Служил ей верой-правдою крестьянин.
И тот солдат, что был смертельно ранен,
Упал, великой Родине служа.

В окне, горячим лучиком дрожа,
Восходит солнце в поднебесной рани.
Пойдем, рассветным воздухом дыша,
Когда нас призовут на поле брани.

Пускай погибнем, как отцы в атаке,
Но знают и мамаи, и рейхстаги:
Непобедима русская душа.

Как отчий дом, как трепетные стяги,
Как будто слово воинской присяги,
Мы не забыли в поле блиндажа.

13

Мы не забыли в поле блиндажа
Среди земли смоленской и ростовской.
Не здесь ли встретил Теркина Твардовский?
Душа России — Теркина душа.

Казалось нам — пред совестью греша,
Мы отступали, род наш не таковский.
Нас матери поили из ковша
В деревне белорусской и литовской.

Но знали мы: грядет пора атак,
Еще упремся дулами в рейхстаг
По-русски обстоятельно, толково...

И вот уже распался полумрак,
И посрамлен, и уничтожен враг.
Мы не забыли поле Куликово!

Мы не забыли поле Куликово.
В народе дух славянский не угас.
Еще ведет и вдохновляет нас
Высокий подвиг Дмитрия Донского.

И всякий год, и всякий день и час
Пускай нас будит Игорево «Слово...»
И ты, Хатынь! И сообщенья ТАСС,
Что в память нашу врезаны сурово.

Пишу «Венок» и мучаюсь, и стражду...
Хочу, наверно, чтоб с моих сограждан
Беспамятства слетела чешуя.

Чтоб каждый русский, человек наш каждый
Проснулся и задумался однажды
О Родине, о смысле бытия.

МАГИСТРАЛ

О Родине, о смысле бытия
Мне думается долгими ночами.
Сегодня больно журавли кричали,
Оставив сердцу милые края.

Россия ненаглядная моя,
Меня твои просторы обласкали.
Вновь из поездки возвращаюсь я
В байкальский домик с думой о Байкале.

За Родину тревожится душа,
Последний лист снимается, шурша,
Освободив дорогу для другого.

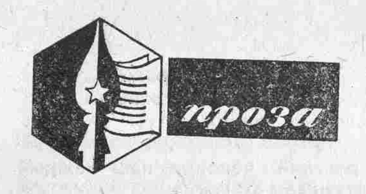
Свои дела для Родины верша,
Мы не забыли в поле блиндажа!
Мы не забыли поле Куликово!

Иркутск — порт «Байкал»

Владимир Петрович Скиф родился в 1945 г. на станции Куйтун Иркутской области. Закончил Тулунское педагогическое училище и отделение журналистики ИГУ.

Печатался на страницах «Литературной газеты», «Литературной России», альманаха «Поэзия», журналов «Москва», «Юность», «Сельская молодежь», «Студенческий меридиан», «Наш современник».

Автор поэтических книг «Зимняя мозаика», «Журавлиная азбука», «Бой на рапирах», «Грибной дождь», «Живу печалью и надеждой».



Вячеслав **ПРОЦЕНКО**

МОМЕНТЫ ИСТИНЫ

РАССКАЗ

Однажды Мухряев — рядовой инженер с окладом 150+20% и с перспективой до выхода на пенсию стать старшим инженером на окладе 180+20%, — стрельнув у начальника группы пятерку до аванса, услыхал за спиной насмешливый шепоток: «Момент истины»... Это у них в отделе была такая шуточка. Горел план или, наоборот, получали премию за перевыполнение, «обмывали» первенца чертежницы Кати Мальцевой или скидывались на похороны тещи старшего инженера Кутасова, участвовали в субботнике по уборке территории КБ или обсуждали на собрании поведение ночевавшего в вытрезвителе техника Еремеева, — и непременно кто-нибудь говорил с усмешечкой: «Момент истины»...

Нет, сослуживцы Мухряева не были злостными циниками, всех их обременяли семьи и заботы, и они умели, когда требовалось, понять и посочувствовать друг другу, а то и помочь в меру возможности, для поддержания в отделе доброжелательной рабочей атмосферы, если же кто-нибудь заходил в шутках слишком далеко, то не от зависти и не от высокомерия, а скорее от скуки, от усталого раздражения или от рассеянности. И к Мухряеву все относились, в общем, хорошо, гораздо лучше, чем, например, к Еремееву, которому смеялись в лицо и уже не давали взаймы, так что обижаться Мухряеву было вроде бы и не на что. И все-таки шепот за спиной помнился и жег, жег...

Собственно, только после этого случая он впервые задумался, почему его жизнь сложилась так, а не как-нибудь иначе. Но иначе она и не могла сложиться. Он закончил школу ударником, попробовал поступить в институт — и поступил, к немалому своему удивлению, а дальше от него и вовсе мало что зависело: защита, распределение, работа, зарплата, женитьба, дети... Что касалось зарплаты, то он не знал, да и не хотел знать во всех подробностях, куда уходят его 150+20%; семейную бухгалтерию вела его жена Зина, ей он отдавал все свои получки и авансы и ежедневно брал у нее рубль на обед, пока она не говорила: «Денег нет, займешь у кого-нибудь»... И ведь он не пил, как Еремеев, можно сказать, совсем не пил и не менял любовниц, как Кутасов; правда, и не подхалтуривал на студенческих дипломных работах, как некоторые в их КБ, не торговал на рынке брусникой и орехом, не шил на дому брюк с ширинкой на молнии для знакомых и друзей знакомых, как техник Слягин из копировального отдела, не тратил отпуск на шабашки, не устраивался по совместительству и под чужой фамилией в ЖЭК, где работала Зина, хотя, наверное, мог бы, и его мать-пенсионерка, проживающая вместе с отчимом в другом городе, не пыталась удлинить остаток своих дней продолжением трудовой деятельности и не высылала ему переводов, примеры чего он во множестве наблюдал вокруг себя. Кроме того, он в отличие от некоторых инженеров и техников, бездетных

или имеющих по одному «короеду», сумел за каких-нибудь два года обзавестись двумя — Сашкой и Тонькой. Прошлой осенью он свел Сашку в первый класс, а нынешней поведет и Тоньку. Он любил своих детей, особенно Тоньку, больше похожую на него, чем на Зину, и хотя часто досадовал на связанные с ними издержки, ни в коем случае не считал их главной причиной своих долгов.

И нельзя сказать, чтобы Зина не умела вести домашнее хозяйство. Наоборот, Мухряев часто удивлялся, как успевала она, отсидев в своем ЖЭКе с девяти до восемнадцати, пробежать затем по магазинам, сготовить ужин, залатать дыру в Сашкиных штанах и постирать на завтра Тонькины колготки. Правда, в этот водоворот дел она вовлекала и Мухряева, например, когда требовалось начистить картошки, наладить потекший кран или приколотить оторвавшуюся вешалку, — если бы не ее напоминания, он так и торчал бы все вечера перед телевизором. И еще она, как нынче мало кто, умела выкроить из своих старых платьев сарафанчик для дочери, связать сыну шапчонку. Вот только время от времени на нее накатывала жестокая покупательская лихорадка, жажда во что бы то ни стало приобрести нечто из ряда вон: хрустальную люстру, норковую шапку, импортный чайный сервиз, — это случалось не часто, однако случалось и превращало долги в долгую проблему, которая наводила на Мухряева тоску. И если он никогда особенно не возникал против сверхплановых трат жены, то лишь потому, что возникать было, во-первых, уже поздно, во-вторых, бесполезно, в-третьих, он по себе знал, как трудно удержаться от соблазна истратить деньги, когда их нет (отчего и не любил ходить в магазины), и в-последних — ему ли возникать, с его-то 150+20%! Он стыдился себя, но было странное чувство — оно давно притупилось, вошло в привычку, да и Зина в последнее время уже не корила его безденежьем, махнула на него рукой; разве что с годами в ней выработалось полубессознательное пренебрежение к мужу-неудачнику, замешанное на слепой привязанности к нему, за неимением лучшего.

Все это вместе — устоявшийся быт, сознание своей незначительности, боязнь стронуться с насиженного места — и удерживало его в КБ, где он с самого начала, с распределения, занимался расчетами и привязками, подвязками и присобачиванием к разным водогрейным штукам нормативных диаметров, параметров и арматуры, иначе он давно бросил бы эту рутинную инженерию и подался куда-нибудь на стройку обыкновенным слесарем-сантехником. Он два раза порывался бросить, писал заявления «по собственному желанию», но кончалось тем, что, получив квартиру, премию или увидав свою фотографию на Доске почета и поразмыслив, посомневавшись, а будет ли ему лучше на новом месте, оставался. Единственное, на что его хватало, — он никогда не отказывался съездить на пару месячишек в подшефный колхоз, помочь деревенским жителям в уборке урожая, иногда даже сам просился поехать.

В сезон страды к формуле 150+20% кое-что добавлялось, то больше, то меньше, в зависимости от разных обстоятельств и его умения пристроиться на сельскохозяйственной ниве. Там он и слесарил, и помогал плотникам, грузил картошку, колол дрова, копал землю — поездки обогащали его не только деньгами, но и всевозможными полезными навыками. В отделе о нем говорили: «Штатный колхозник» и «Момент истины». Многих сослуживцев, конечно, устраивало такое его шефское рвение, ведь иначе пришлось бы кому-то вместо него отправляться за тридевять земель от дома, в холод и слякоть, а так он один отдувался за весь отдел и даже получал в колхозе Почетные грамоты. Зина к этим его осенним отлучкам относилась двойственно: она скучала одна с детьми, но и отдыхала от него, копила радость для встречи, — и он надеялся, что причина этой радости не только в привозимых им деньгах. Он тоже отдыхал от нее в деревне, а встретившись, оба переживали что-то вроде медового месяца; в такие моменты трехкомнатная квартира казалась им тесноватой, но это скоро проходило.

И с каждым годом «отдых» в деревне все больше тяготил его. Он неплохо отдыхал и в городе, наведываясь по воск-

ресеньям на часок, другой в шахматный клуб, где собирались давние полуприятели-полусоперники: второразрядник Лямин, холостяк и донжуан, пенсионер Сизов, игравший, правда, хуже Лямина, зато очень начитанный, некто Васин, всегда являвшийся на пару со Сверчковским, говоруном и анекдотчиком, и еще несколько любителей, более или менее аккуратно посещавших клуб. Зимой это была комнатка в одном из городских домов культуры, а летом располагались в парке, среди сосен. Вокруг досок толпились зеваки, подсказывали, спорили, стоял галдеж; Сверчковский пытался давать сеансы одновременной игры и всем проигрывал под хохот толпы. Мухряева тянула туда не так игра, как неизвестно что: хотелось увидеть старых знакомых, поговорить о шахматных событиях. Он давно знал, что способностями к игре не обладает, но когда-то, еще в школе, занимался серьезно, пробовал достичь высоты, и клуб напоминал ему «ферзевой кружок» его детства. Ему нравилось слышать сочный баритон Лямина, когда тот насмешливо поучал своего противника: «Теорию, теорию почитывать надо»... — и хохотать вместе со всеми над анекдотами Сверчковского, хотя уже на другой день он, как ни старался, не мог вспомнить, о чем шла речь. Зина только раз проверила, куда он ходит, заглянула летом в парк и после попыталась убедить его, что весь их клуб — сборище пенсионеров, тунеядцев и шизофреников, и что семейному человеку делать там нечего, однако настаивать на своем поостереглась: послушный ей во всем, тут он проявил непонятное самому и даже какое-то жестокое — по отношению к ней — упорство...

Больше они об этом не говорили, и неизвестно, что послужило причиной охлаждения Мухряева к шахматному клубу. Просто с некоторых пор он стал замечать, что его туда уже не тянет. Игра вконец опостылела, завсегдатаи примелькались, анекдоты не только не смешили, но раздражали, в них слышался все тот же омерзительный шепоток за спиной — он никак не мог его забыть, хотя вроде бы никогда не страдал излишней впечатлительностью. Неизменной отрадой и спасением оставался сон — спал он всегда крепко, сны видел приятные... Но недавно ему привиделось нечто странное: будто он работает по совместительству в Зинином ЖЭКе, причем вовсе не сантехником, как следовало бы согласно его теплотехническому образованию, а почему-то дворником. Он мел улицу, затаив обиду на нерадивое жэковское начальство, сгребал в кучи сухие листья, а они все падали, падали с тополей, и он все сгребал — пока не разглядел, что это совсем не листья, а деньги, разноцветные мятые бумажки. Он ничуть не удивился, поднял одну, другую — они были не такие уж замызганные — и, устыдившись своей обиды, сразу забыл о ней и принялся торопливо, охапками распихивать по карманам и за пазуху. Но все не входили; тут нужен был мешок, десять мешков или даже сто, а у него не было ни одного. Тогда он снял брюки, завязал гачи и набил их деньгами, остальные деньги сгреб в одну огромную кучу и стал суетливо бегать вокруг нее, не зная, что делать дальше. Мысль о том, что деньги достанутся кому-то другому, была нестерпима. Наконец он придумал: отыскал в карманах спички и поджег кучу — густой коричневый дым заволок улицу, стало нечем дышать... Он проснулся в каком-то паническом, детском ужасе и долго не мог уснуть. Рядом безмятежно посапывала жена, и он с тоской и удивлением таращился в темноту, размышляя о том, что пора, пора ему подыскивать другую, настоящую работу...

А тут еще Зубов умер — замначальника технологического отдела. Ни с того ни с сего. Буквально вчера был на работе, здоровый, свежевыбритый, шутил с практикантками на лестнице, гонял подчиненных из курилки — и вот нате вам. И не какой-нибудь там хиляк и заморыш вроде Еремеева, а красавец-мужчина, в самом соку, от роду, кажется, ничем не болевший и не злоупотреблявший сверх меры. При жизни Зубова многие дамы в КБ вздыхали по его густым сросшимся бровям вразлет, одни тайно, другие явно, и он не бегал от них, но слыл осторожным, разборчивым: через два года ему предстояло проводить своего шефа на пенсию и занять кабинет... Все КБ бросило работу и обсуждало причины смерти, о

которых никто ничего толком не знал, руководство озабоченно сновало по коридорам, забыв о подчиненных, из-за двери женского туалета на втором этаже доносились чьи-то сдавленные рыдания.

Стоя в актовом зале, где был установлен гроб с телом бывшего замнача, в толпе сослуживцев, собравшихся для последного прощания, Мухряев с мрачным любопытством смотрел на красивое мертвое лицо в гробу, на неподвижный черный костюм, усыпанный цветами, и заторможенно думал о бренности жизни. Еще недавно это тело обладало, хоть невеликой, но властью и вдвое большим, чем у Мухряева, окладом, новенькими «Жигулями» и силой, способной делать счастливыми женщин, строило какие-то личные планы, слегка интриговало, слухи о чем доходили и до Мухряева, тратило драгоценные мгновения жизни на никому не нужные цифры, графики, собрания, совещания, тогда как надо было радоваться каждому глотку воздуха, успевать...

Печальное событие подействовало на Мухряева самым неожиданным образом: он не спал всю ночь. Утром пришел на работу разбитый, опухший, кое-как дотянул за своим кульманом до обеда, водя карандашом по контуру задвижки на чертеже и мысленно мусоля все то же: зачем? для чего? кому это нужно? — и лишь после перерыва несколько оживился, не так от столовского супа, как от сообщения Кати Мальцевой, что сегодня дадут аванс. Правда, у него опять мелькнуло: зачем? для чего? — но мысли работали уже совсем в другом направлении: впервые в жизни его неодолимо, почти машинально потянуло в загул. Вопрос был — с кем? С годами работы в КБ он постепенно устранился от веселых компаний, порой у него просто не находилось лишнего рубля, чтобы скинуться, и все привыкли к этому и давно не тревожили его никакими такими предложениями, обходились без него.

Конечно, он мог бы сам предложить, скажем, Кутасову или еще комунибудь, но тут же Кутасов наверняка бы удивился, стал бы выспрашивать, почему да отчего, смеяться, рассказывать другим... И потом — по некоторым признакам было видно, что сегодня ни Кутасов, ни другие скидываться не собирались. Оставался Еремеев — этот всегда пребывал в состоянии готовности, и его тоже давно не принимали в компашки по той простой причине, что он умел слишком быстро преодолевать купленное за деньги веселье и превращался в обузу для остальных. Но Мухряеву сейчас было все равно с кем, как и где. И Еремеев будто почуял это: когда толпились у кассы, он обернулся, взгляды их встретились — в полинявших глазах Еремеева мелькнуло понимание, даже сочувствие, он кончиками пальцев дотронулся до своего недовыбритого горла и вопросительно подмигнул. Мухряев не удивился, хотя никогда раньше Еремеев не подмигивал ему так — для этого у Еремеева имелся кто-то другой, из другого отдела, — и чуть заметно согласно кивнул. Еремеев удовлетворенно отвернулся.

Из проходной они, не сговариваясь, вышли вместе: Мухряев чуть впереди, Еремеев за ним. Толпа «кабешников» двумя потоками растекалась по прилегающим переулкам, застроенным двухэтажными каменными домами. Над крышами еще довольно высоко, беспечно сияло солнце, пахло тополями, пылью, автомобильными выхлопами и благополучно законченным рабочим днем. Впервые Мухряев никуда не спешил — до закрытия винного магазина оставался еще час с лишком, а о доме он старался не вспоминать. Они с Еремеевым говорили о чем-то — о погоде, о работе,— но думали об одном: что впереди у них целый летний вечер, которым они распорядятся по своему усмотрению. Захотят — и будут летать, если смогут, или ползать, блевать, или просто посидят на берегу реки, полюбуются, и никому до этого нет дела...

Очередь в магазине двигалась бойко — товар не весовой, — и скоро они, держа попеременке и всячески оберегая от ударов холщовую сумку Еремеева, засаленную и бывалую, ехали в автобусе по направлению к окраине, к Старице — так называлась деревушка, с которой некогда начался их город. За деревушкой текла река, она впадала в другую, большую и известную, дав-

шую название городу, но на большой стоял химический комбинат, а по маленькой всего лишь сплавляли лес, и выглядела она уютнее и естественнее большой; наверное, поэтому берега здесь местами сильно замусорились обрывками газет, ржавыми консервными банками и пробками от бутылок — сами бутылки тщательно подбирали окрестные старушки. Но еще можно было отыскать уголок с не очень вытоптанной травкой, под не слишком обломанными кустами недавно отцветшей черемухи. И Еремеев отыскал — он добровольно взял на себя все организационные заботы.

Отбросили несколько сплющенных жестянок, оставленных предшественниками, и расположились. Закусывали соленой рыбешкой, которую предусмотрительный Еремеев прихватил в обеденный перерыв в буфете. Смотрели на реку: в ней плавилось солнце, кудрявые кустарники на противоположном берегу на фоне нестерпимого предзакатного блеска подергивались туманной синевой, далеко на мосту, посверкивая стеклами, ползли игрушечные машины... Еремеев рассуждал о том, что с некоторых пор их отдел стал недружный, каждый думает только о себе и о своей карьере, а до другого никому нет дела. Мухряев кивал и проникался все большей симпатией к Еремееву. И почему они раньше не встречались вот в такой, нерабочей, обстановке, похожей на неправдоподобно красивую декорацию к какому-то чудесно задушевному спектаклю, — жаль, столько приятного упущено. И вообще он до сих пор жил не так, как надо — суетно жил, ничего не видел вокруг, не знал, кроме разве шахматного клуба; у него даже настоящего друга, вот как сейчас, никогда не было... Ему захотелось рассказать Еремееву всю свою жизнь, все самое интересное и важное в ней, и он уже начал рассказывать, но заметил, что друг совсем не слушает его, а говорит что-то свое. Он обиженно умолк, а Еремеев размахивал руками и все говорил, говорил, перескакивая с одного на другое, потом вдруг запел:

— Мой дельтаплан, мой дельтапла-а-ан!..

Голос его совсем не подходил к тому, что было вокруг, это действовало на нервы, но Мухряев считал, что возражать против песни не имеет права: хочет человек — и поет... Хорошо, что Еремееву скоро расхотелось петь. Вместо этого он встал и, сильно шатаясь, пошел к воде. Мухряев встревожился, когда увидел, что его друг стоит по колено в реке и хочет идти дальше, глубже, намереваясь либо утонуть, либо выйти сухим на тот берег. Пришлось скинуть кое-что из одежды, забрести в пронизывающую до костей воду и выволочь друга на сушу. Тот сопротивлялся, сучил ногами и рвался обратно, и надо было силой вести его домой, тем более что в бутылках ничего уже не осталось. Мухряев приблизительно знал, где живет Еремеев: где-то возле парка, в котором собирался шахматный клуб, — раза два они виделись там...

По дороге Мухряев крепко держал друга под руку, и обоих водило из стороны в сторону. Еремеев куражился, не хотел садиться в автобус, делал вид, будто забыл свой точный адрес и тянул Мухряева куда-то вкось, к какой-то Зойке; Мухряев намучился с ним, пока доставил к парку, выпытал номер дома и квартиры, затащил по лестнице. Дверь открыла жена Еремеева. То есть Мухряев не знал, кто она такая, видел ее впервые, но когда она стала кричать на Еремеева, он догадался, что это жена. Кричала она не только на своего мужа, Мухряеву тоже перепало, и хотя рост и комплекция у нее были меньше Еремеевских, голосом она превзошла его самого, а слова знала такие, что на минуту в голове у Мухряева прояснилось и он наконец догадался оставить супругов наедине. На улице он еще некоторое время слышал шум, доносившийся сверху, затем хлопнула дверь, и все стихло...

При мысли о том, что настал и его черед подаваться домой, ему сделалось до того скучно, что мысль эта мгновенно улетучилась. В парке еще крутились карусели, заходящее солнце пожаром пылало за соснами, истончало ветви и отбрасывало на стены домов длинные мохнатые тени. По улице шли люди, и Мухряеву казалось, что они такие же сим-

патичные и праздные, как он, и удивляло, что никто не замечает его, никому он не интересен. Он прошел в парк, но и там никто не обратил на него внимания. На двери павильончика с прибытием к козырьку фанерным шахматным конем висел замок — день был не клубный. Он посидел на скамейке, постоял в толпе ребятишек и молодых мам возле карусели, не видя, что мамы сторонятся его, а старушка дежурная, собирающая билеты, подозрительно на него косится. Ему чего-то хотелось, но он не знал чего, и было горько: вечер-то проходит, уже прошел...

Гульнул называется.

И как же он обрадовался, когда к нему подошли двое мальчишек, один совсем маленький, другой чуть побольше, и, одинаково швыркая носами, попросили двадцать копеек — не хватало на билеты. Обрадовался и в то же время проникся некой жалостью — ему часто бывало жаль детей, своих и чужих, может, оттого, что он помнил себя, каким был когда-то, страшно давно; вот и сейчас ему на секунду почудилось, будто он — это совсем не он, а босоногий оголец, стоявший на родных задворках того далекого послевоенного поселка, и рядом с ним товарищи его детства — такая же, как он, безотцовщина. Он чувствует огрубелыми подошвами мягкую теплую пыль, на нем пилотка из газеты и вечно драные штаны на одной лямке — мать не успевала чинить. Он не раз слышал, как она жаловалась на безденежье... Эх, деньги, деньги, растак бы их в цифирь! — с застарелой злостью подумал он, шаря по карманам в поисках мелочи. И то ли злость подтолкнула его, то ли еще что, но именно в эту минуту он и понял, чего ему хочется. Он нашарил несколько бумажек, оставшихся от аванса, достал все и протянул пацанам. Но они не спешили брать, недоверчиво спрашивали:

— А это что, дяденька? Это деньги?

— Деньги, деньги, — кивал он с видом волшебника, для которого извлечь из карманов миллион — плевое дело.

— Дяденька, нам не надо деньги. Нам двадцать копеек...

Он долго объяснял им непослушным и советовал купить мороженое, сколько влезет, потом сунул деньги за пазуху тому, что постарше, повернул его и подтолкнул от себя. И они побежали к дожидавшейся их стайке ребятишек, а он смотрел им вслед, готовый сию же минуту отдать за них не только аванс, но и жизнь, если б понадобилась, и легко ему было. словно он разом излечился от долгой и тяжелой хвори. Где-то на донышке этого облегчения проскользнула холодная трезвая мысль, что вряд ли Зина поймет его, когда узнает, но он только рукой махнул, чуть не задев кого-то проходящего мимо. На него оглядывались. А он вспомнил про Сашку и Тоньку — наверное, Сашка уже привел сестру из садика, это была его обязанность, благо садик рядом с домом — и заскучал по ним, и направился к автобусной остановке...

— Дяденька! — окликнули его сзади.

Он обернулся: перед ним стояла девочка с ясными серьезными глазами и розовым бантом на макушке. Он не сразу понял, чего ей от него надо, она протягивала ему деньги и говорила:

— Спасибо, нам это много...

Он попытался отказаться, отводил от себя ее руки, но она была все так же серьезна и настойчива. В ней явственно ощущалось что-то от Зины... И он подчинился, забрал деньги и пошел. Но деньги давили его, портили настроение и мешали идти — нет, от них надо было избавиться. И он на ходу бросил их себе под ноги.

— Гражданин! — услышал он за спиной. — Гражданин!

Это была все та же девочка, похожая выражением глаз на Зину, но в облике молодой, красивой и очень гордящейся собой женщины.

— Вы уронили...

Он даже не подумал сказать «спасибо» и не заметил, что женщина обиделась. Деньги мешали ему, теперь он это знал твердо. Именно из-за них он столько лет жил согнувшись, в бесконечном долгу перед семьей, начальством и всеми, кто имел больше, чем он, и мог одолжить ему от щедрот своих — нет уж, все, хватит! Он желает выпрямиться — любой ценой, сейчас или никогда! И он все

равно сплавит кому-нибудь эти паршивые языком и на пальцах, что это двадцать и еще двадцать, двести раз по двадцать, деньжонки, которые дети, малые и несмышленые, но вовсе не глупые, не захотели принять как подарок, — именно сплавить, хоть и поступит не совсем честно, но может, он один такой невезучий, а другому они принесут радость.

Он мимоходом положил их на краешек скамьи, на которой сидел уткнувшись в газету, лысый человек пенсионного возраста, но не успел пройти и нескольких шагов, как кто-то обогнал его и загордил дорогу. Это был тот самый человек; его мучила одышка, глаза под очками на голом черепе испуганно таращились.

— Ты зачем подсовываешь мне это?! — скрипуче-пронзительно завопил он, потрясая перед лицом Мухряева смятыми в кулаках бумажками. — Все видели: он подсунул! Ишь ты!.. В милицию его надо, в милицию!

От неожиданности и обиды Мухряев чуть не побил старика, отнял у него скомканные, липкие остатки своего аванса и, на ходу распихивая их по карманам, поспешил удалиться.

На автобусной остановке он сел на скамью и беззвучно заплакал, уткнув лицо в ладони, чтобы никто не видел. Во всем мире не было человека несчастнее его... Потом к нему подошли дружинники и стали допытываться, где он взял деньги и почему не идет домой. Он понимал только, что до поры не должен ничего говорить, от этого зависела жизнь или смерть — не его, а чья-то, может, тех двух пацанов или его друга Еремеева. Деньги он сразу отдал дружинникам, но они вернули их ему и о чем-то перетолковывали меж собой, оставили его в покое — наверное, они были такими же рядовыми инженерами, как и он. Но вокруг собралось слишком много людей, и он опять пошел в парк.

Солнце давно исчезло, начинало темнеть. В парке никого не было. Он вывернул все карманы, сгреб бумажки в кучку и оставил под скамейкой. Теперь можно было спокойно ехать до дому...

В автобусе на него напала безудержная веселость, на языке вертелись слова из когда-то услышанной песенки Высоцкого: «Я на Вачу еду — плачу, возвращаюсь — хохочу...» Он пропел их на весь автобус, но остался недоволен собственным голосом, который напомнил ему голос Еремеева там, на берегу. Поэтому он больше не пел. Но ехать молча было скучно, и он громко заговаривал с пассажирами, молол чепуху и смешил их и любил всех подряд, даже тех, кто посматривал на него осуждающе. Он чувствовал в себе необыкновенную силу, смелость и доброту; он мог бы, например, одним движением проломить стенку автобуса или погладить по голове, как гладил свою Тоньку, симпатичную девушку, что так славно улыбалась ему из-за плеча стоящего рядом парня. Но он знал, что не сделает этого,— не потому, что боится последствий, а просто чтобы не оборвать ниточку, возникшую между ним и всеми другими...

Дома Зина встретила его словами:

— Ты где шляешься? Я уже хотела в милицию заявлять...

Услыхав про милицию, он поморщился и в дальнейшем вел себя очень сдержанно и независимо, на вопрос Зины, получил ли он аванс. ничего не ответил. И она ни о чем больше не спрашивала, молча дала поесть и все время как-то странно приглядывалась к нему, будто не узнавала...

Но утром она вернулась к вопросу об авансе. И только тогда, все вспомнив, он осознал надвигающиеся последствия своих вчерашних похождений. Не завтракая, с тяжелым звоном в ушах и противной слабостью в конечностях он потрусил на остановку. пробился в автобус, доехал до парка.

За домами, невидимое пока, вставало солнце, верхушки сосен светились, и в них, перекрикивая громыхание проносящихся мимо трамваев, галдела мелкая пернатая живность. В парке никого не было.

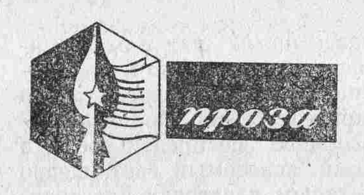
Он ходил зигзагами между скамейками, заглядывал под них и, когда понял, что безнадежно опоздал на работу, увидел под одной из них чуть заметный уголок бумажки, торчащий из мокрой от росы палой хвои. Пришлось встать на чет-

вереньки и разгрести смешанную с горелыми спичками, окурками и прочим мусором хвою, но бумажка оказалась полинявшей от времени конфетной оберткой. Он разогнулся и посмотрел вокруг — не видел ли кто? — однако в парке по-прежнему никого не было. Отряхнув руки, он сел на скамью, под которой, возможно, еще ночью лежали его деньги, устало развалился, запрокинул лицо и прикрыл глаза. А когда открыл, над ним безмятежно сияла первозданно чистая, без единого пятнышка, вольно распахнутая вглубь и вширь голубизна. Она втягивала в свою вышнюю беспредельность, в этот обманчивый, невесомый свет, щедро разлитый в летящем навстречу пространстве и отрешенный от всего, что оставалось там, внизу...

Вячеслав Борисович Проценко (Ангарск) родился в 1945 г. в г. Иркутске. Закончил Черемховский горный техникум в 1967 г. С этого времени работает в проектной организации г. Ангарска.

Публиковаться начал в 1975 г. в альманахе «Сибирь». Участник коллективных сборников «Байкальский меридиан», «Чисто профессиональный спор». Лауреат конференций «Молодость. Творчество, Современность».

В 1989 г. в Восточно-Сибирском книжном издательстве выходит его первая книга.





Михаил ПРОСЕКИН

ПЧЕЛЫ

РАССКАЗ

Федю Железного прихватил радикулит.

Колол он старые баланы, усаженные сучьями, как арматурой, увлекся, не жалел силенки. Взнес на топоре крученый, свинцовой налитости комелек, располовинил его и запоздало крякнул от боли: съехало что-то с места в пояснице, вроде бы треснуло. Железный, дивясь случившемуся и в то же время обвыкая в необычном для себя положении, улегся в ограде на кучу щепья так, чтобы не надсажать спину, и выставил ее, широкую, дощато жесткую, на солнце. Думал, отмякнет, пройдет, но нет — в позвоночнике будто иголка засела.

Железный перемогся остаток дня, ночь и, согнутый удочкой, засеменил на медучасток, потому как первоначальная боль растеклась вширь, словно утолстилась, и занимала всю поясницу. Не пошел бы он врачеваться, сроду в том не нуждался, но надо было чем-то оправдаться на работе, а работенка-то не для хворых — бревна из воды тягать. Участковый врач Капустин, человек местный, с которым Федя давным-давно учился в школе до седьмого класса, обращался с ним по-казенному сухо: сосредоточившись, заполнил карточку, велел спустить брюки, понаклоняться туда-сюда, уложил на кушетку, наверное, для важности обстукал молоточком и вдруг так завернул ему ноги, что у Железного помутилось сознание.

— Измываешься, грамотей? — выкатил он зенки.— Нравится, ага?

— Молодец! Ведешь себя естественно, диагноз можно смело ставить,— просветлев лицом, заключил Капустин.— Радикулит — заболевание хитрое, не увидишь его, не ущупаешь.

— Ух ты... — скорготнул зубами Железный, хотел уж выпустить кой-какие словечки, но подавил их, удержал — ведь учреждение тут, общественное место, если рассудить...

Несколько дней он исправно навещал тесный и нечистый, с застиранными шторками физиокабинет, принимал назначенные процедуры, надеялся-таки на медицину. Спину ему лечили мощной электролампой, заключенной в колпак, и металлическими пластинками величиной с ладонь.

— Ну как? Терпимо? — подкручивая настройку аппарата, спрашивала медсестра Фрося с наполовину выведенной татуировкой на запястье руки; надпись была словно выщипана, но еще проглядывали буквы «Ко...я». Видимо, некий Коля в свое время разбил ее сердце. Или Костя?

— Саднит... — бормотал Железный и командовал: — Врубай на всю катушку!

— А теперь?

— Саднит...

— Некуда больше! Стрелка вон, как овечий хвост, дрожит.

— Фельдшерá... — огорчался страждущий, остывая душой.— Занозы вам только вытаскивать.

Не помогало Железному лечение, както не доставало его. От процедур у него лишь забурела, обшелушилась кожа, ста-

ла сухой, будто выделанной. А боль все отстаивалась, разламывала кости таза, шибала в левую ногу, и не было от нее никакого спасенья. В другой раз он понедужил бы с охотой, попил винца, отлежался. Чего бы и не похворать, если бюллетень на сто процентов оплачивают? Однако донимал его радикулит в самое неподходящее время. Дело в том, что он хотел брать отпуск и уходить в тайгу, добывать орехи. Все к тому уже было готово: насушены черные сухари, запакованы в целлофан крупы, соль, разные специи, курево; выстираны, уложены мешки; заряжены патроны; куплена по дешевке шахтерская роба. Большую часть приготовленного он на днях занес на свое зимовье, спрятал в надежном месте. Тогда же, млея сердцем и спотыкаясь, с задранной головой обошел участок, на котором хозяйничал не один сезон, и уверился, что шишка народилась: синё на любом кедре, добычь, не ленись — деньга будет. Настала, значит, особенно плодоносная пора, а ведь бывает она не так уж часто, по наблюдениям таежников, через пять-шесть лет. И верно, в прошлые годы шишка болталась некорыстная, уморенная да червивая. А нынче вон какая понависла — ядреная, смолистая, хоть всю подряд на сувениры сдавай.

Каждое утро Железный появлялся на улице сломленный в крестце, с обвисшими руками и вытянутой по-черепашьи головой, точно изготовившийся для игры в чехарду; мучился за себя такого, но шагал на медпункт, хотел уж докончить курс лечения. Минуя контору промхоза, видел расположившихся возле нее табором горгочущих людей: мужчин со спутанными бородами, в штормовках и скалолазных обутках, веселых женщин в брюках, взбудораженных подростков. Орешники, таку-т их мать!.. Явились, не запылились! Подряжаться собрались. Ну-ну, подписывайте договора, соглашайтесь сдавать орехи в промхоз, посмотрим, что зашибете!

Орешники гужевались. Они вытаскивали из глубин своих тюков сухую колбасу, тушенку, сыр, яйца, помидоры, огурцы и уминали это добро бездумно, как последний раз в жизни; несли из магазина охапки бутылок с пивом. Ешьте, пейте! Опять же поглядим, что через месяц кусать станете. Промхоз, может, и выпишет жратвы, да на карандашик возьмет, после взыщет, не забудет. И поедете домой налегке.

Наступили выходные дни, медпункт был закрыт, и Федю Железного охватила тоска. К обеду он отправился к Семену Варламовичу Дергоусу, соседушке своему. Бывал он у него, как верующий на исповеди, в самые несносные периоды жизни.

* * *

Дергоус был дома, подметал двор; избоченясь, двигался с ветвистой метлой напористо, словно траву косил. Все такой же, каким его издавна знали в поселке: старчески неизменный, присогнутый в коленях, с выжидательно напряженным, выдвинутым вперед лицом. Слинивал, конечно, Варламыч — делался сивее, ниже ростом, усыхал в плечах, но все это свершалось понемногу, неуловимо для глаза.

— Заходи, если пришел! — сощурившись, бросил он Железному, с натугой шагнувшему через запорную доску в калитке.— Чей-то корежишься?

— Свернуло, понимаешь. Радикулит, мать его...

— Гляди-ка ты что... — с напускным удивлением промолвил Дергоус; не мог он не знать о постигшей соседа беде.— Болезнь кого хошь найдет, не промахнется.

Железный, оказываясь в этом дворе, всякий раз становился чужд самому себе, несколько даже тупел; боялся шагнуть куда не следует, сломать что-либо, своротить, допустим, поленницу дров. Все здесь было рассчитано и отлажено: соразмерная с постройкой ограда, крыльцо с перильцами, остекленная веранда, подбористая зимовейка в три окна, тесовый навес — защита от дождя и снега. Дом на четыре ската под шифером обшит вагонкой в елочку, покрашен в голубое, с белыми наличниками. О внутреннем его убранстве и говорить нечего, там простая долговечная мебель, половички и занавесочки, тишь и чистота.

Было время, когда Железный, подражая соседу, надумал придать своему жилью радостный вид и удобства. Затратил сезонную прибыль от добытых орехов и вроде бы обустроился: сменил внизу стопы дома два трухлявых венца, обшил стены вагонкой, поставил новые вереи

для ворот, заказал в мастерской наличники; купил на базаре самодельные дорожки, цветные круги и чеканку — токующего глухаря. Тем не менее обновление дома, как оно задумывалось, не произошло. Вагонку ему завезли старую, уже употреблявшуюся, и противиться этому не имело смысла, поскольку сделка происходила по пьянке; нашитые же дощечки выказали все отверстия от сидевших в них гвоздей, и стены напоминали мишени, по которым пристреливали ружья. С наличниками тоже не задалось, их связывали из сырого материала, и они дали заметный перекос. Половики и круги быстро затоптали неразборчивые Федины гости, забредавшие к нему обыкновенно с получки. Чеканный глухарь висел, тому ничего не делалось.

Переустройство в конечном счете оказалось бесполезным, дом сохранил печать временного холостяцкого пристанища.

— Ступай сюда,— Дергоус отворил калитку, ведущую в сумеречный палисадник.— Попотчую тебя, так и быть.

— Не гоношись, я только что из-за стола.

— Знаю твой стол. Намнешься чего попало, как слепой, без всякого удовольствия — и отвалил. К еде почтение надо иметь, доброе расположение, да-да.

Железный ухромал в палисадник, сел, кособочась, за легкий столик, вкопанный ножками в землю. И снова он с повышенным интересом взирал на торжествующее обзаведение Дергоуса: на кусты смородины и крыжовника с дозревающей ягодой, разламывающие почву лук и чеснок, ботву крепко сидящей моркови; на огуречные лунки, заполненные, как блюда. увесисто-бородавчатыми плодами. Видел и объект нового увлечения соседа — пяток ульев, сколоченных из дощечек, которыми ныне, будто чешуей, обивают дома из бруса. Ульи стояли в дальнем углу огорода, в тени двух черемуховых кустов, и там вились, заведенно погуживали пчелы, строки, по-местному.

Все здесь, мнилось Железному, росло, накапливалось и приумножалось само собой, как божеское ниспослание.

— На-тко, угощайся,— хозяин принес вскипевший электрочайник, корзинку с сахарным печеньем, мед в стеклянной баночке.

— Сытый я...

— Чай наверхостку в самый раз. Пей! А то осудишь меня. Жмот, скажешь.

— Что ты, господь с тобой!

— Находятся люди, осуждают. А я ведь никому отказа не даю — бери что есть, деньгами одалживайся. Отдавай только вовремя, не мотай душу. Я любого накормлю — ешь, не оглядывайся; опохмелю, если очень запросишь.

— С умом живешь,— сказал Железный, протяжно вздохнув.— Взять тех же строк. Ты вот дома, делом занимаешься, а они цветки шерстят, медок тебе натаскивают.

— И не говори! В чужих руках... сам знаешь. Строка! Да это самая неуноровная тварь на белом свете. Чуть не доглядишь, она уж и лапки вверх задрала, отработалась. Ей и температуру должную зимой надо создавать, и подкармливать не забывать, и от болезней уберегать.

— Что за болезни?

— Паралич, допустим.

— Да ну?

— Самый настоящий, на почве нервной системы,— осведомленно произнес Дергоус; нравилось ему ошеломить собеседника редкостными сведениями.— Или массовый понос откроется — тоже мало радости, загибнет тогда семья. Строка — существо ломкое, с капризом.

— И понос? — изумился Железный.

— А то как же...

— Сахарком, однако-ть, пчелок подкармливаешь, жиденький медок получаешь и денежки огребаешь. Хитро! — простодушно, с долей зависти сказал Железный.

— Не мели языком, Федька! — посуровел Дергоус.— Я своих пчел не обманываю.

— А чего медок-то скоро засахаривается? Показывала соседка Файка склянку, которую ты ей загнал: внизу гольный сахар, вверху одна муть, ни вкусу в ём, ни запаху.

— Свойство его такое... — неопределенно вымолвил Дергоус.

В широко, охватно раскинутом небе белой сталью плавилось солнце, жарило вовсю, но чувствовалось; в последнее время сместилось с проторенной линии и ходило несколько отстраненно, по иным космическим начертаниям. Из близко подступающей, как глухая ночь, тайги, заметавшей горы и распадки, наносило

духом прелых листьев, багула, корья, смолы. Все было напитано томлением и леностью, все будто ждало чего-то важного, готовилось к тому.

— Через день, два можно бы и заходить в тайгу... А тут как специально свернуло, гадство! — покривился Железный, отвлеченно схлебывая чай.

— Рано, поди-ко.

— Какой те рано! Выхлещут кедрач, моментом выхлещут. Видал, какие ухари у промхоза ошиваются? Раньше таких здесь и в помине не было, а теперь гужом валят, не стесняются. Далось им это занятие!

— Не созрела шишка, недели через две пойдет, да и то если добрая погода стоять будет.

— У меня повалится...

— Ну да, не зря тебя Железным прозвали. Ты же колот пудов на восемь берешь, не меньше, и резину к нему на крючьях, то есть оттяжку цепляешь, чтоб удар сильнее выходил. Так?

— Приходится, Семен Варламович... Иначе на бобах останешься, не зашибешь копейку. Я даже коня на вывозку ореха не нанимаю, на себе вытаскиваю: куль за спину, пайку на загорбок — и прешь напрямик, по кошкаре, по колоднику... Страшно!.. Орех, он влеготку не дается.

— А проматываешь сколько с прибытку? Половину? Или больше?

— Кое-что и просаживаю. Так и мне встряска требуется, живой я пока.

— Ох уж эти твои встряски да разминки... — взгляд Дергоуса сделался стылым, отталкивающим.— Хватаешь, хватаешь, а все ни сыт ни голоден, вечно трешку спибаешь.

— Алименты задавили, Семен Варламович,— смиренно сказал Железный.— Зарплату половинят, около двух тысяч в год отымают. Вникни-ка!

— Не гонял бы Верку, так и жил бы, как у Христа за пазухой. Кто ты теперь есть? Ни богу свечка, ни черту кочерга.

— Характерец у меня... в батю. Ну, а ребятишкам помогать надо, сам их настрогал.

Выпили по две кружки чая, налили еще и предались задумчивости. Железный сидел бочком, ненадежно — тяжелый лик был напряжен, казался свирепым и недобрым, открывалась темная, в жестких складках шея. Дергоус же был умиротворен и благостен, лицо его отмякло и разделялось как бы ступеньками: удлиненный подбородок, оттянутые губы, плоский утиный нос, выпуклый лоб, ясное пространство которого то и дело рябилось мелкими, будто слетавшимися откуда-то морщинками.

— Сказывали, что ты по-новому орешки добычишь,— прервал молчание Дергоус.— Правда, нет ли?

— Что за выдумки? — вскинулся Железный.— Что балякают?

— Будто взрывчаткой кедры лупишь.

— А-а, насочиняют...

— Ах, Федька ты, Федька, грешное создание! — огорчился Дергоус.— Не запирайся лучше. Кого-нибудь другого морочь, только не меня. Я же ходил летось в кедрачи, видел на твоем участке погромы. Скажи хоть, как наловчился-то.

— Ничего хитрого,— взбодрился Железный, успев подумать о том, что отпираться и впрямь незачем; да и захотелось ему вдруг похвастаться.— Берешь, значит, чугунную плиту, привязываешь двести граммов взрывчатки, весишь на деревину, запаливаешь шнур, а сам прячешься, ка-ак саданет — вершинки отлетают. Час какой-нибудь, и полный куль шишки наберешь. Производительно...

— Надоумил кто-нибудь?

— Не-е, сам допер, собственным умом.

— Взрывчатку-то где берешь?

— Маленько у геологов, маленько у шахтеров.

— Вредитель ты, Федька! Сущий диверсант! — поежился Дергоус, выплеснул на землю недопитый чай.

— Заприписывал!.. Теперь всех кошек на меня свесишь, тебе только дайся,— на лице Железного скука и разочарование.— Я колотовник не трогаю, я самые толстые кедры рву, которые ничем другим не возьмешь. На них шишка так и так пропадает, кедровка ее смолачивает.

— Кедровку не хули. Это она семечки растаскивает, она единственная кедрачи плодит. Соображать надо, откуда что берется.

— Учи ученого...

— Что сам-то будешь делать, когда весь участок разбомбишь?

— Где-нибудь подальше зимовье срублю. Тайги навалом.

— Ясно, как у цыгана: одна деревня

сгорит, он в другую перейдет. Эх, Федька!

— Бывай здоров! — Железный поднялся и, придерживая поясницу ладонью, побрел к воротам.

Дергоус отмолчался.

Только на улице Железный вспомнил, зачем навещал соседа — хотел ведь попросить мази для натирания поясницы, которую тот с успехом готовил в зимовейке из прополиса и соцветий каких-то растений; поселковые старики и старухи пользовались этим снадобьем и одобряли его: но-но, помогает... Железный остановился, воротился было, но отрешенно махнул рукой, бормотнул что-то и посеменил домой.

* * *

Встретились они через день на автобусной остановке возле медпункта. Дергоус, одетый в серый костюм в полоску, при выходной шляпе с пустым лагушком ехал из райцентра — торговал медом. Железный был в физиокабинете на процедурах.

— Живой еще? — отпустил шутку Дергоус. — Все лечишься? Смотри, как бы совсем не залечили.

— Эт-то имя недолго... Продлили бюллетень аж на неделю. Не бывать мне нынче в тайге. Амба!

— Сходим, что ли? Заершим, я угощу, — проявил суетливость Дергоус. — В чайнушку бочковое пиво завезли.

— Угости, если не жалко. Ты богатый, вижу. Почем медок-то отпускал?

— По пятерочке, по пятерочке за кило.

— Берут?

— Только дай...

— Я вот не люблю торговать, стыжусь, — засмурнев, пооткровенничал Железный. — Свои орешки, горбом добытые, а стыжусь их фуговать, от знакомых отворачиваюсь. Изматерюсь весь, пока на базаре стою. В промхоз сдавать — руки не подымаются, дешево берут.

— Торгаш из тебя и впрямь никудышный. Расставишь куль на самом проходе, в пыль, в грязь и мнешься, как стоялый конь. С покупателем зубатишься, спину о забор чешешь. Фу, глядеть тошно!

— Эх, Семен Варламович! Не умею я культурничать. Не перенял что-то, не сподобился.

— У меня учись, примечай кое-что, — воодушевленно заговорил Дергоус по пути в чайнушку. — Видал, как мед на прилавок выставляю? Нет, конечно. Где тебе... А выставляю я его в стеклянной банке да так, чтоб лизнуть его тут же возжелалось. Ну и внешность блюду. Казенным фартуком не пользуюсь, свой держу, усы подрезаю, боюсь покупателя волосом расстроить. Так вот...

— Мед — продукт особый, он в хорошем обращении нуждается. А что орех? Как его выгодно покажешь?

— Телепень! Ни черта не кумекаешь в базарной конкуренции.

Возьми постного маслица, чуть-чуть обваляй в нем орехи — заиграют как шоколадные, сами в карман запросятся. Покупатель на настроении живет, ему, главное, видимость создай.

— Мой орех не надо умасливать, — неприязненно сказал Железный, чувствуя, что легко попадает под влияние Дергоуса. — Он цельный год дымком пахнет и вкус не теряет. А все потому, что калю его на совесть, плесневеть не даю.

— Сидор-то для базара мог бы поприличнее завести. Или толку не хватает?

— Заведу...

— Рюкзак большой купи, он солидность тебе придаст.

Чайнушка размещалась в пристрое магазина, была она кособокой и щелястой, с обвалившейся местами штукатуркой и выпирающей отовсюду дранкой, с погнившим крыльцом; внутри по стенам безбоязненно ходили сытые, блестевшие на свету тараканы. Дергоус заказал у толстощекой и медлительной буфетчицы по две кружки пива и полную тарелку жареного, шибающего болотиной хека. Железный тем временем облюбовал столик у окна, отыскал в своих карманах тряпочку, служившую ему, видимо, носовым платочком и, покряхтывая, вытер его, точнее, спихнул на пол крошки хлеба, рыбьи косточки, ленточки капусты и прочие пищевые отходы.

— Дегустируй, прошу, — подставил ему одну из кружек Дергоус.

Железный объял ее ладонями, выглотал больше чем наполовину и с презрением заявил:

— Псина!

Дергоус отломил через бумажку влажный кусочек рыбы, предусмотрительно обнюхал его и с появившейся умильностью во взоре приподнял кружку; осторожно, словно боясь обжечься, повысасывал из нее своими вытянутыми, действовавшими как-то самостоятельно губами, и сказал:

— Ага, выдохлось пивко-то... Тухлинкой отдает...

— Сколько тут всякого добра водилось! — растревожился Железный.— Чего только не завозили!.. Отоваришься, бывало...

— Было, было,— подтвердил Дергоус.— Помню, здесь и водочку на розлив с утра подавали — гуляй, Ваня, до зеленых соплей!

— Видать, отошла лафа...

— А так и надо. Может, горюшка у людей поубавится.

— Ты, Семен Варламович, прямо как министр судишь: это надо, это нет, и все ясно, никаких загвоздок,— с досадой произнес Железный.— А меня ты, положим, учел? Нет?

— Ты же состоишь на учете,— съязвил Дергоус.— Мало разве?

На реплику Железный не отозвался, подобная мелочь его не могла задеть. Он уже взялся за вторую кружку и, пооблегчив ее, посыпал вопросами:

— А что на мою долюшку остается? Изо дня в день хрип гнуть на лесосплаве? Так, чтоб поджилки дрожали? Мне это, значит, на всю жизнь отпущено?

— И эту работу кому-то надо выполнять.

—Я-то выполняю, на легкие денежки не зарюсь. Ломишь, ломишь от зари до зари, и, бывает, в какую-то минуту будто бы кто толкнет в бок: выпить надо, отключиться. Как тут быть? Что прикажешь? Ответь, если ты умный такой...

— Бабу себе подыщи...— благостно жмурясь, шепнул Дергоус.— Ты еще любую вдовицу укатаешь — сразу отмякнет, петь будет, гарантирую.

— Вот и завилял! — посмурнел Железный.— Сказать-то тебе и нечего...

Настало время покидать чайнушку, но им уже не хотелось расходиться — чувствовалась какая-то незавершенность почина.

— Надоело хворать-то? — спросил Дергоус, осенившись какой-то радостной мыслью.

— И не говори, Семен Варламович! До тошноты надоело. В тайгу хочу, на карачках бы, кажется, ушел.

— Давай я тебя зараз вылечу.

— Как это?

— Пчелы-то! Ихний яд — первое средство от радикулита.

— Погоди! — взбудоражился Железный. — А ты знаешь, как лечить?

— Чего там знать! Подставишь зад, нажалят — выправишься, в тайгу увалишь.

— Поможет?

— Испыток не убыток.

— Ладно, я согласный. Когда начнем?

— Да хоть сейчас. Пошли!

* * *

В хозяйстве Дергоуса и в его отсутствие свершалась вполне зримая работа — полнела, наливалась каждая овощина, спела, клонилась долу теплая мякоть ягод, отовсюду слетались неутомимые пчелы, неся драгоценное вещество. Он опять увел Железного в палисадник, а сам сходил в дом и принес графинчик, наполненый алой, испускающей трепетные блики жидкостью, выбрал из карманов звонкие фигуристые бокалы, кругляш домашней колбасы, свежие огурцы, ножичек и вилки.

— Что это? — подтянулся Железный, косясь глазом на графинчик.

— Медок. Подсаживайся ближе, заершим, чтоб лечению пользу дало.

— Однако-ть... — восхитился Железный, вмиг опорожнив первый бокал. — Как этакое добро готовишь?

— О-о, здесь особая технология, от стариков дошла.

— Научишь?

— Едва ли ты освоишь. Тут много чего требуется — мед майского сбора, прополис, «золотой» корень, другие компоненты. — Дергоус волей-неволей обрел тон большого знатока. — И потом надо, как минимум, полгода ждать, чтоб напиточек выбродился.

— Полгода? — озадачился Железный.— Нет, не выйдет. Терпенья не хватит.

— То-то...— Дергоус приложился к бокалу, учащенно пожевал ломтик колбасы и вдруг объявил: — Я тебя, Федька,

даром лечить не собираюсь. Ты даже не надейся.

— И за это деньги взимаешь? — оторопел Железный.— По скольку?

— У меня своя такса будет, морального исчисления,— медлил что-то, нагнетал обстановку Дергоус.— Дашь расписку — махом вылечу, трудов не пожалею.

— Какую еще расписку?

— А подмахнешь?

— Душу тебе заложить, что ли? — недоумевал Железный.

— Да нет, мое условие попроще. Примешь, значит, обязательство, что пока ты живой, никогда, ни при какой нужде не будешь разрушать гармонию природы.

— Говори ладом, Семен Варламович. Не наводи тень на плетень. Чего добиваешься-то?

— Хочу отвадить тебя рвать тайгу взрывчаткой — вот мое мечтание. Подпишешься?

— Запросто! — взвеселился Железный; прихоть соседа показалась ему смешной и несущественной, абсолютно ни к чему не обязывающей.— Тащи бумагу, накатаю, если ты нотный такой.

Дергоус опять сходил в дом, принес школьную тетрадку в клеточку и шариковую ручку, обмотанную посредине изолентой.

— Дозволяешь? — спросил Железный из деликатности, самостоятельно принимаясь за графинчик.

— Наливай, наливай...

Железный заздравно хукнул и, не переводя дыхания, осушил следующий бокал; закусывать не стал, отодвинул от себя колбасу и закурил вонючую сигарету. А уже через минуту он, напрягшись, под диктовку Дергоуса писал в тетрадке: «Я, рабочий лесосплавного участка Федор Иванович Долгополов, по прозванию Железный, нынче и в последующие годы обязуюсь: 1. Не приделывать к колоту резиновые оттяжки, дабы не уродовать кедрач. 2. В целях сохранения тайги не применять взрывчатку. 3. Заходить на шишкобой только в положенный срок». Последний пункт смутил его, да и вообще он стал опамятываться: считай, официальная бумага и неизвестно, в чьи руки может попасть...

— Я лучше обещание дам,— Железный немедля выдрал листок, хотел выбросить его, но смял и затолкал в карман.

— Надеяться-то на тебя, как на вешний лед...— огорчился Дергоус и, смекнув что-то, распорядился: — Готовься на процедуру!

— Погоди,— стушевался Железный.— Поднеси-ка еще...

Дергоус разлил остатки медка, поднес ему, выпил сам. Железный подпятился к ульям и стал оголять волосатый, как у дикого зверя, зад. Хозяин надел чесучовый комбинезон, соломенную шляпу, приготовил сетку на лицо. Медок не опьянил его, не расслабил, а сделал каким-то шальным и бездумным.

Пчелы стремительно летали по неким установленным собою линиям и казались бесплотными. Возникали они словно из небытия.

— Пошуруди там! — засипевшим голосом сказал Железный, стоявший как на врачебных уколах.

Дергоус приободрился, опустил сетку на лицо и начал ходить между ульями, попинывая их в бока и приговаривая:

— Вот он, вот! Куси его, куси!

И тут началось... Пчелы растревожились, вняли опасности и усиленно загудели — точно боевую песнь завели; их, чудилось, откуда-то подбрасывали лопатами. Устремлялись они в атаку целыми ротами и батальонами.

— Давайте жарьте! — прохрипел Железный.

— Так его, так! — торжествовал Дергоус.— Ай, славно!

А в наступление уже шли свежие подразделения — пчелы возвращались с медоноса, лезли, толкаясь, из ульев и с ходу группировались в звенья и эскадрильи. Железному показалось, что на спину ему стали падать расплавленные дробинки свинца. Он тут же почувствовал, как дробинки эти привариваются к лицу и шее, докатываются к телу сквозь одежду, ошпаривают руки.

— Кончай! — рыкнул он в замешательстве.

— Э-э, тут ли было!..— воскликнул Дергоус, продолжая пинать ульи.— Терпи, пациент!

Железный не вынес. Он кое-как нацепил штаны, обхватил голову руками, упал в борозду и громадным ужом пополз из огорода, пробурил собою дыру в частоколе и принялся по-лошадиному ва-

ляться в траве, обильно росшей в низинке.

— Будет тебе, весь покос изомнешь, а я кроликов думаю разводить, сено понадобится,— отгоняя метелкой пчел, сказал Дергоус.— Вставай, заершим.

— Уйди, Семен Варламович! Добром уйди! — отозвался Железный.— Не вводи в грех!

— Ты че это?

— Отвали, жмурик!

— Ишь, какой нежный... Я уйду, мне что...— проговорил Дергоус и тихо, как от постели тяжелобольного, удалился.

* * *

Федя Железный растерзанно лежал на земле и чувствовал, как весь наполняется чем-то инородным, как тело его, словно исколотое шилом, деревенеет, всюду распирается шишками, как бухнет, делается не своим лицо и скрываются, вязнут в мягкой опухоли глаза, как толстеют губы и уши.

...Железный много лет стремился наладить свою жизнь так, как подобает разумному сибирскому хозяину — это ему, наверное, передалось от дедушек и бабушек, отца и матери, людей обстоятельных, знавших, где что лежит и умевших перемочь всякую нужду. Он не бросал тяжкую, в три смены работу на лесосплаве, за что, само собой, получал хорошие деньги. Выстроил дом, купил, выждав очередь, мотоцикл с коляской, обзавелся одеждой лет на десять вперед, потом женился. Женушка ему досталась в общем-то славная и обходительная, хохлушка Вера, состоявшая ранее, как она объяснилась, в гражданском браке. Железный досконально выяснил, что значила эта премудрость, и озлобился, посчитав себя обделенным чем-то весьма существенным, и стал куражлив и неподступен, с пренебрежением относился к любым действиям Веры. «Жарь, баба, омуля!» — говорил он, являясь домой в подпитии. «Где я тебе его возьму?» — смеясь, пыталась отшутиться Вера. «Жарь, сука, двух на масле!» — требовал он вслед метнувшейся на улицу жене. Одним словом, совместная жизнь у них не задалась, и Вера, забрав двух ребятишек, отбыла на Украину, пожелав ему: «Ищи нетроганную».

И подыскал. Привел в дом хохотливую нормировщицу, красавицу, по его суждению, опять же не местную, занесенную на лесосплав невесть откуда по оргнабору, проще говоря по вербовке. Обогрел ее, разодел как куколку и, казалось, вполне довольствовался ее нехитрой любовью. Как-то на Первомай, движимый стремлением отгулять праздник вовсю, но не в ущерб хозяйству, уехал на рыбалку, натаскал из-под таявшего сверху льда пятиведерный горбовик окуней, продал их дорогой — продавал выгодно, не по весу, а связочками по десятку штук, что увеличивало доход ровно наполовину. Вернулся на следующий день впотьмах, застуженный и люто голодный. Ткнулся в избу — пусто, не топлено, дверь не замкнута. Поспрашивал у соседей — нет, не видели его отраду. После уж один мальчуган натакал — там она, с дяденькой хохочет. Железный прокрался через огороды к указанному дому и подглядел в щелочку в ставне: сидит его зазноба с молодым парнем в обнимку, вольная и развеселая. Взмычав, Железный прибежал в свой двор, нацедил из мотоцикла горючки, вернулся к тому дому, разнес стягом окошко, выплеснул туда горючку, бросил зажженный коробок спичек — и фукнуло, запластало. Все подмел огонь, ничего не удалось спасти, хотя и пожарники на двух машинах приезжали. А как они, любовнички-то, удирали! Стоило видеть...

Ну повезли Железного куда следует. Ему бы присмиреть, раскаяться, находился, дескать, в состоянии ревности, так нет же... Пнул, балда, милиционера, выпрыгнул на ходу из машины.

А после отсидки жизнь его взяла странную цикличность. Месяца два, три, иногда полгода он отдавался хозяйству: чинил изгородь, сам перекладывал печку, стеклил окна, устраивал завалинки; на работе вел себя показательно, выжимал норму. Тем временем в душе его что-то накапливалось, затвердевало, томилось и мутнело, требовало выхода. И в какой-то недобрый миг Железный давал себе послабление, не удерживался от порыва. Втягивался он в загул одиноко целую неделю и в этот период забрасывал домашние дела, слонялся невесть где, на работе бывал, тянул ее для отвода глаз. Дом его заселяли пришлые люди, они

съедали все подряд, укладывались на отдых как хотели, умыкивали все, что плохо лежало. Железный, выходя из штопора, начинал отваживать их — гнал немилосердно в ночь-полночь, применял даже силу, и тогда нередко вспыхивали беспощадные драки. Случалось, и Железному пускали кровушку, однако зарастало все у него быстро, без лекарств, и делался он после этого свежее, чище, моложе — будто в санатории побывал; ходил неотягощенный думами, разрядившийся.

Так вот проходила его нескладная жизнь.

— Вломлю Дергоусу. Нарочно, гад, отдал меня на поедение,— сказал Железный, поднялся и побрел домой.— Одыбаю — и вломлю.

* * *

Встал наутро Дергоус позднее обычного, с тугой ломотой в голове и неопределенной болью в теле. Постанывая и отплевываясь, сошел во двор, с раздражением восприняв колкий свет солнца и вязкую августовскую теплынь. Он пошагал вдоль усадьбы, к тесовой с отдушиной над дверью уборной, но вдруг остановился, замер и начал догадываться, что в хозяйстве совершается какая-то беда. Тревогу вызывали пчелы, они не работали, гудели усиленно, по-вчерашнему, когда песочили Железного.

— Роятся, батюшки! — простонал Дергоус, метнулся к ульям, осмотрел их впопыхах и убедился, что две семьи уже снялись, покинули свое местожительство.— Ах, сволочье! Под осень вздумали лететь... Все передохните без корму, так и знайте!

Дергоус, не мешкая, развил активность: сбегал в ограду, схватил дымарь, привой для ловли роя, достал из колодца воды. Вернувшись, он понял, что лишился еще одной семьи — в воздухе свивались только два живых клубка. Подскакивая старым козлом и сквернословя, он пытался обрызгивать с веника оставшихся пчел, чтоб усадить их на кусты, а затем сгрудить привоем и засадить на место. Но пчелы уже были сильно возбуждены и озабочены — их влек в путь древний инстинкт, тот самый, что помог им сохранить себя в веках,— кружились высоко и не поддавались усмирению. Кочевье продолжалось...

Вскоре на пасеке Дергоуса установилась тишина.

* * *

А Железный, на удивление себе, выздоровел. То ли действительно помог пчелиный яд, то ли позвоночник направился в момент, когда он, невзирая на боль, извивался на огороде соседа — никто не скажет. Во всяком случае, поясница опять окрепла, стала надежной и непоколебимой, и совсем не верилось, что еще накануне она доставляла адские мучения. Испытывая себя, Железный натаскал из ручья воды, доколол баланы, возвел вровень с забором поленницу дров — и ничего, спина выдерживала нагрузки, ноги действовали по-прежнему без боязни.

Правда, лицо было опухшим, как с жестокого похмелья.

С обеда Железный сходил в контору лесосплавного участка, то есть на свою работу, сдал больничный листок, выправил полагавший отпуск, получил упругую, распиравшую ладонь пачечку денег. Оставаться в неприютном, запущенном дому без какого-либо занятия стало невыносимо, и он, торопясь, привязал к мешку широкие брезентовые лямки, наполнил его чем полагалось, устроил за спину и даже слегка попрыгал — поясница вела себя чудесно, была твердой и приземистой, как платформа. Потом он закрыл дом на тяжелый замок, подпер бревешком калитку из ограды, смело перемахнул через заплот... и столкнулся с Дергоусом, везшем на тележке чем-то набитые мешки.

— Отрубей достал, будет что кроликам дать, когда их распложу,— осведомительно сказал он и опустил на землю оглобельки тележки.

— У шоферов? У чайнушки?

— А больше негде.

— Ты не промахнешь, ничем не попустишься...

— У нас в стране активная старость почитается,— ответствовал Дергоус внушительно.— Подсобные хозяйства — дело великое, по сути, на них мы мировую войну вытянули.

— Ты-то, сказывали, больше на себя

тянул,— проговорил Железный с едкой усмешкой.— Мылом приторговывал, солдаток обслуживал.

— Не трекай, Федька, языком! Не разноси, как баба, всякие слушки,— возвысил тон Дергоус.— Не взяли меня на фронт, хотя и сам просился. Я снабжением занимался, Красную Армию продовольствием обеспечивал, да будет тебе известно!

— Обеспечивал так обеспечивал,— не стал спорить Железный.— Но люди говорят... А на чужой роток не накинешь платок, сам понимаешь.

— Чего это в ночь поперся? — спросил Дергоус, как бы охлестывая его злобным старческим взглядом.— Боишься, чтоб не застукали? Взрывчатку не конфисковали? Тащишь ее, поди, с собой, вон сидорто как раздуло. Выведу я тебя, Федька, на чистую воду.

— Ну, это еще суметь надо.

— Сумею!

— Законник выискался, в крест мать!.. Знаю я, откуда такие голуби берутся: проживут, понимаешь, умненько, с оглядочкой, потом допетрят, что помирать-то не с чем, ну и берутся себя возвеличивать. Поздно, старикашечка! Теперь уж ничего не наверстаешь! — распалился Железный.— А взрывчатки нету с собой, не достал нынче, можешь проверить. Понял я, что не тем делом занимался; лежал ночесь, не мог уснуть — и как-то враз понял, одумался. Не буду больше тайгу курочить — зарок дал.

— А уходишь вечерком, по-тихому...

— Время берегу. Не хочу завтрашний день терять. Ночи светлые — дойду, не заблужусь.

— Ну, топай, топай...

Железный вздернул мешок, свернул в проулок, надбавил шагу и вскоре оказался на утоптанной, рассекавшей подлесок тропе. Его могутная фигура еще долго маячила на ступенчатом взгорье Хамар-Дабана.

Над мреющей в тепле тайгой затухал вечерний свет.

Когда этот номер был в производстве, ушел из жизни Михаил Михайлович Просекин, член Союза писателей СССР, коммунист, человек, любивший жизнь, умевший радоваться ее животворным силам. Человек по натуре веселый, он умел смеяться, умел подмечать в людях едва заметные черточки характера, поэтому многие его устные рассказы знавшие его вспоминают с улыбкой.

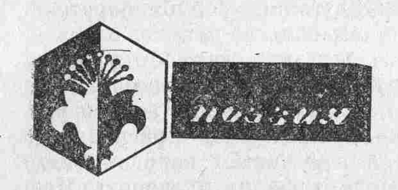
Михаил Просекин последние годы жил на берегу Байкала в поселке Култук, где он и родился и нашел свой последний приют. Он хорошо знал местную тайгу и многих знакомых иркутян водил за грибами и ягодами.

При внешней нарочитой прямоте он был человеком застенчивым и легко ранимым и его култукское одиночество свидетельство тому.

Литературная судьба Михаила Просекина в последние годы складывалась удачно. Появлялись новые повести и рассказы, выходили книги в Иркутске и Москве. Знание народной жизни помогало ему изображать характеры правдивые и запоминающиеся.

Перед смертью он завершил новую повесть «Искупление», касаясь в ней острых социальных вопросов.

Она выйдет в свет тоже уже без него.





Тарас Манданов

ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ

Ну и что из того, что живу не в Иркутске,
Что и прадед, и дед проживали в селе,
Что читать и писать я учился на русском,
Что все думы мои о родимой земле?!

Что с тех памятных пор, как отец, умирая,
Полоснул по вискам побелевшей рукой,
И улыбка его, беззащитно-чужая,
Стала самой понятной и дорогой.

Что в любую эпоху есть люди нужнее,
Что найдутся всегда поважнее дела.

...К вещам изначальным приходим позднее,
Какими б дорогами жизнь не вела.

Какие бы истины мы ни знавали,
Какое бы чувство ни трогало нас,
По-своему мы предаемся печали,
Изведав любви неподатливый час.

Какие бы бури в пути ни встречали,
Какая б поземка кругом ни мела,
Каким-то чутьем мы всегда отличали
Свой собственный след...
И была не была!

ПЕРВЫЕ САПОГИ

Не спеша подтянув голенище,
Не желая сидеть на мели,
Ты выходишь в своих сапожищах,
Необузданный житель земли.

И ручей говорливый, и лужи
Бесконечное чудо творят:

То зиливисто просятся в душу,
То в себе молчаливо тают.

Зачарованный далью и светом,
Вдруг ты падаешь вниз головой
Прямо в лужу волшебную эту,
Чтоб достать небосвод голубой.

□ □ □

Вспыхнет день и море взбудоражит.
Встрепенет продрогшую листву.
Два весла одной волною свяжет
И бесстрастно примет в синеву.

Распрямит и плечи, и старанья,
Дерзкою мечтою осеня:
Как круги от брошенного камня,
Разойдутся песни у меня...

...И не только фауна и флора
И дыханье внешних перемен.

В них твой взгляд, моим надеждам вторя,
И судьбы, и лодки нашей крен.

Вот на этой глади, на зеркальной,
Иль на той неистовой волне
Стану я чуть-чуть сентиментальней,
Стану я вдруг чуточку нежней.

Стану я, с волной и ветром споря,
Близить две тропы на берегу:
Кроме бездны глаз твоих и моря
Ничего припомнить не смогу.



Через раздвинутые губы
Жизнь иногда нам кажет зубы.
И все же милые уста:
И таинство, и простота.

БЕССОННИЦА

Бывают в жизни каждого минуты,
Когда, нарушив суточный режим,
Перебираешь вековые путы,
Души неясным помыслом томим.

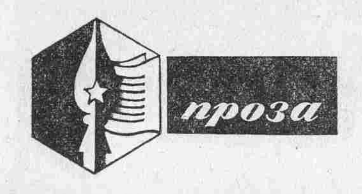
Когда из тьмы уснувших вожделений
Лишь звезды мирно просятся на грудь.
И нам, вобравшим опыт поколений,
В саму бездонность хочется взглянуть.

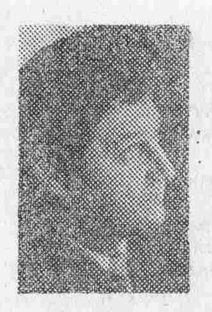
Что может быть и трепетней, и шире
Минут, когда сближаются миры...
Когда лишь сон, раскинувшись над миром,
Безудержно летит в тартарары.

Тарас Тանганович Манданов родился в 1950 г. в д. Хандагай Баяндаевского района Иркутской области. Окончил среднюю школу, работал плотником, завклубом, продавцом. Является постоянным литсотрудником газет «Заря» и «Советская молодежь».

Участник конференции «Молодость. Творчество. Современность».

В альманахе «Сибирь» публикуется впервые.





Виктор ЕШТОКИН

НЕ ФУНТ ИЗЮМУ

РАССКАЗ

Токарь дражного участка прииска Еловый Василий Кузьмич Мурашов собирался из мехцеха на обед. Глянув по сторонам, он поспешно придавил корявым пальцем красную кнопку пульта станка, снял очки, фартук и с облегченной радостью громогласно крякнул.

Механическим цехом почтительно именовалось деревянное старое здание с высоким закопченным потолком и выщербленным полом. Там стояло несколько разномастных токарных и фрезерных станков, овальные окна были в налете серой пыли, а укромные местечки за карнизами давно облюбовали воробьи. В углу торчала наполовину вкопанная красная бочка с песком — место для курения. В перерыв или перед обедом там кучковались станочники. Сизый дым пластами лугового сена так и витал над их головами. Именно там можно было узнать самые разные новости прииска, обменяться впечатлениями от прожитого дня, перемолоть косточки местному начальству. Теперь же около курилки было пусто. Черт подери, вот так заработался! Не услышал не увидел, как начался перерыв.

Мурашов вышел и задержался на скрипучем крыльце. Ему было худо. Теплой волной к горлу поднималась тошнота, мутило отчаянно и нудно.

С раннего утра, когда началась обычная горячка и он работал со злым напором, похмелье почти не ощущалось, не давило. Только раз вчерашний вечер тяжело напомнил о себе, когда аккурат в десять часов в мехцех наведалась местная знаменитость Степан Шмаков, в прошлом армейский прапорщик, по прозвищу Шматок: невысокий крепыш с густым румянцем на щеках — хоть прикуривай.

— Живой, говоришь? — приблизившись, участливо прохрипел Шматок над ухом Кузьмича.— Порядок в танковых частях! Вот она, жистянка-то: еле оклемался. Это тебе не фунт изюму! Освежиться хочешь? — Шматок, оттопырив армейский френч, украдкой двумя пальцами потянул из внутреннего кармана зеленое горлышко фляжки. — У Воробьихи расстарался. Враз полегчает.

Токарь едва глянул — мигом замутило, повело... Даже стена, казалось, шевельнулась.

— Да ты что? Ошалел? — сняв очки, рассерженным гусаком зашипел Мурашов, украдкой зыркая по сторонам. Он даже прибавил обороты станку. — Ты чего буровишь? Спрячь, покуда на грех не нарвался! Ведь знаешь давно: я в рабочее время ни грамма. Хоть тресни башка как гнилой арбуз. Ведь знаешь, почему мне нельзя, что в профкоме, что сам с вашим братом пьянчужкой и лодырями борюсь беспощадно, а зудишь. Свинью кладешь, получается. Вот и попробуй таких воспитай. Шагай подальше, не мешай работать! Я из-за стакана твоей бурдомаги уважение начальства, тринадцатую зарплату и спокой в семье терять не собираюсь.

— Да ты что, Кузьмич, в натуре? Я же хотел как лучше, — преданно округлил светлые глаза Шматок. — Ну, как

знаешь: с горы видней. Хо-олодненькая... — соблазнительно протянул он и скрылся. Растворился, как вчерашний туман.

И вот теперь на кособоком крыльце Василия Кузьмича терзали сомнения. «Пожалуй, зря я с ним так круто обошелся, — уныло размышлял он, лениво наблюдая, как от полдневной жары коробится пыльная листва тополей да плавает в белесом мареве одинокий коршун. В низине лоснились крыши горняцкого поселка. — Человек ведь от чистого сердца принес, беспокоился. Обидно. Надо бы сказать, чтобы на вечерок оставил. Да хрена лысого останется у Стеньки — глотка-то луженая. Выцедил, поди уж, как насосом, да и полеживает где-то в холодке. Год почти уж после стройки не работает — и ничего. Как с гуся вода. Везет же таким. Спят да пьют, живут в свое удовольствие. А тут — одна работа да еще пример во всем показывать должен, раз передовик. На профкоме нервы последние рви. Станок который год не могут обновить, того и гляди рассыплется. К дню металлурга подарком почему-то обошли. Эх, Стенька правду говорит, что жизнь пошла — не фунт изюму».

Мурашов неожиданно разозлился и совершенно упал духом. В висках ломило. Сплюнув, он закосолапил стоптанными кирзачами по ухабистой дороге к крайним домам поселка. Серым клубком постепенно разматывался минувший вечер.

Вчера после работы Мурашову пришлось изрядно выпить и даже закусить малосоленым омульком. Выпал нечаянный интерес, как говаривал тот же Шматок.

Дело было так. Чинно и благородно Мурашов шагал с работы. Он миновал новую контору участка, ступил на родную улицу с буйной крапивой вдоль заборов. В побеленных палисадах налилась ядреная черемуха. Токарь размышлял о том, как под выходной спроворить с зятем настоящую рыбалку. И вдруг во дворе столяра Геннадия Ковалева он увидел любопытную картину. Геннадий вместе со Шматком катали по просторной ограде новехонький «Урал». За рулем мотоцикла восседал пятиклассник Серега и время от времени победно и внушительно покрикивал:

— Давай, батяня, давай! Деревня близко. Сейчас заведется!

Токарь от удивления и неожиданности встал как столб. В распахнутом окне молчаливо и грозно выставилась дородная супруга столяра.

— Чтоб его волки съели, — повернув к Мурашову красное как помидор лицо, плачуще прохрипел Шматок. — Не заводится, падла.

— Второй час бьемся, — с облегчением распрямил спину хозяин и смачно выругался.

С десяток разных рабочих специальностей имел за душой передовой станочник. И, бывало, знатоку всяческих механических и технических дел не было отбоя от хозяев и хозяюшек.

— Кузьмич, пылесос на днях купили, а он харчит, словно боров недорезанный. и ничего не тянет. Заглянул бы вечерком?

— Вот горюшко-то мое... Отвернулась к соседке на минутку, а меньшой весь самовар расплавил. Выручай, дядь Вась, уж отблагодарю.

Мурашов, хотя порой был очень занят, по возможности не отказывал никому. Дело житейское, рассуждал он, да и земляки просят — неудобно. Отмахнешься, потом уважать перестанут. Весьма умеренную плату токарь брал лишь в редких сложных случаях и при этом страшно конфузился, извинялся, словно в чем-то был сам виноват. А вот за стол садился частенько. Опять же — по простоте душевной, да и хозяев чтобы кровно не обидеть.

— Ну, со свиданьицем, — непонятно и весело приговаривал он, выцеживая первую рюмку.

И сейчас токарь взглядом знатока сразу же понял и оценил ситуацию. Как человек мастеровой, знающий себе цену, не позволил измываться над бессловесным предметом. Любая машина, хотя и железная, тоже имеет свое терпение и норов.

— Слезай! — потребовал он, решительно повернув во двор.

Малец, оглядываясь на отца, с неудовольствием оставил седло.

— Кузьмич, подсоби, — отдышавшись, закричал столяр. — Загонит меня эта техника в гроб! Чихнет и глохнет, хоть кувалдой колоти.

— Ветерану привет! — осклабился

Шматок. Видно было, что он здесь словно муха на медовой палочке.— Давай на помощь.

— Не умеете в воде гудеть — не пугайте рыбу,— наставительно изрек Мурашов, подсучивая рукава.— Дай-ка, Геннадий, ключи.

Лишь заполночь доплелся Мурашов до дому. Без сил, без мыслей бухнулся на койку во дворе.

Так ровно, без волнений и срывов, шла его жизнь вот уже добрый десяток лет. И не сказать, чтобы часто выпивал Василий Кузьмич. Да и пьяным в доску его никто и никогда не видел. На работе избави боже запороть деталь или не уложиться в срок с заказом. Да и на качество его труда посетовать никто не мог. На заседаниях профкома дражного участка он, несмотря ни на что, беспощадно жалил попавшего в передрягу горняка. Он становился до неузнаваемости строг, приносил стопку помятых газет и к месту или без любил сыпануть трескучими цитатами о перестройке и борьбе.

— Принципиальный человек,— одобрительно отзывалось приисковое начальство.

Частенько, встречая наказанного прогульщика или выпивоху где-нибудь на улице, Мурашов опять же менялся удивительно, прямо на глазах. Откровенно виноватясь, совал жесткую ладонь, угощал папиросами и, искренне ежась от сопереживания, утешительным баском гудел:

— Ну, чего же ты так глупо погорел? Леший, видать, тебя попутал с этими дровами. Зачем поехал на деляну без путевки? Да выписал бы машину хоть на часок и катайся всю ночь — кто тебя проверит? А зачем употреблял за рулем? Тоже мне, ковбоец американский выискался. Пить, брат, надо ведь тоже с умом, особенно сейчас. Не умеешь — не смеши добрых людей. На профкоме почему кусю-мусю не пустил? Мялся, онемел, как рыба. Да слезой надо брать, слезой! Члены профкома тоже ведь люди, поймут. Глядишь, и скостилось бы, и тринадцатую бы сохранил. А на меня, земляк, не серчай. Сейчас время такое. Не маленький, сам понимаешь. Перестройка.

Мурашов, припомнив подробности вчерашнего вечера, отпотевшую фляжку с брагой, вожделенно вздохнул и машинально потрогал очки в громадном кармане и запылил дальше. «Зря, ох, зря я так бесчеловечно и опрометчиво поступил со Степаном,— в который раз теребнуло его.— Глоток холодненькой не помешал бы, зато аппетит нагнал, и на душе повеселее стало. Эх, верно Степка говорит: жизнь пошла — не фунт изюму. А, может быть, он дома? Дай-ка я на всякий пожарный загляну...»

Токарь уже приближался к конторе, как впереди за поворотом послышался треск мотоцикла. Из-за зеленого забора выехал начальник драги Алексей Костромин с раскосыми глазами и загорелым до копоти лицом. За его спиной сидел Зырянов Толька, вихрастый и нескладный учащийся ГПТУ. Будущий электросварщик, на драге он проходил летнюю практику и числился матросом.

Костромин, увидел токаря, резко тормознул. Мотоцикл заюзило, шлейф белесой, как мука, пыли, принакрыл седоков.

— Ага! — обрадованно закричал начальник.— Как говорится, попался прямо в руки! Почтение передовику. Дело к тебе, Кузьмич, есть. Сверхважное! Толян, давай-ка!

Практикант с важностью момента на лице шустро спрыгнул, сбросил с плеч выцветший рюкзак на руки начальству. Костромин крепкими пальцами быстро развязывал узел, не переставая возбужденно говорить.

— Ты, Кузьмич, наша беда и выручка. Выручай, пожалуйста! Драга стоит. Муфта лопнула, кормовой насос отказал. Стоим, хоть вой! Вот, посмотри, хреновина какая...— в голосе Костромина послышались плачущие нотки.

Круглая массивная муфта, похожая на мину, свежо искрилась серой трещиной.

— Эту уже не восстановить. Новую надо. Для тебя, такого мастера, выточить — что палец облизать. Выручай, Кузьмич, смена стоит, а сейчас золото хорошее пошло. Бог с ним, с обедом, я тебе потом премию выхлопочу у Ильина и благодарность напишу. В нашу районку. Так и напишу: выручил токарь Василий Кузьмич Мурашов.

Толян с интересом фыркнул, уважительно косясь на Кузьмича. Большие уши токаря от похвалы порозовели. Он даже приосанился, выпятил узкую грудь

под просторной, как халат, спецовкой.

— Ну уж в газету...— польщенно пробормотал он.— Это, Алексей, пожалуй, лишнее. Я и так сделаю. Вот с обедом закавыка получается. Ну да ладно, если мужики стоят, так и быть. Резец тут добрый надо... — профессиональным взглядом осмотрел он злополучную муфту.— Однако. Так. Ясно. Это тебе, брат Степан, не фунт изюму.

— Поехали, Кузьмич,— простонал Костромин.— Время — золото! А ты, Толян, лови у конторы попутку, дуй на драгу. Скажи, мол, скоро будем. Пусть пока профилактикой займутся.

Мурашов отомкнул мехцех, надел фартук и в куче металлического хлама быстро отыскал нужную стальную заготовку. Удивительное дело, но едва он ступил через порог, тошнота и головная боль ушли, затаились где-то в теле до поры до времени. Теперь не хотелось и есть. «Оставит, может быть, Шматок, догадается. Прошибет совесть. Выточить тут — не большая проблема. Потом попрошу Алексея, пусть до него добросит. Там и подхарчусь».

От этих мыслей Мурашов повеселел. Он надежно закрепил болванку и включил станок. Ровно и уверенно запел станок свою рабочую серенаду. Серебристо-фиолетовая стружка, дымясь и свиваясь, елочной гирляндой поползла в железный короб. Сам того не замечая, токарь против обычного спешил.

— Ну как? — нетерпеливо заглянул через плечо Костромин.— Скоро? Давай, Василий Кузьмич, давай, отец! Драга стоит.

— Скоро, знаешь, что делается? — освирепел Мурашов.— Да котята слепые родятся. Уйди, Алексей, не зуди под руку. Вон около бочонка притулись.

Усилием воли токарь подавил толкнувшуюся вдруг глубоко в груди тошнотворную волну. Впрочем, психанул он и совсем по иной причине. Костромин, нетерпеливо и рассеянно рыская по цеху, едва не обнаружил прикрытый листами старой жести мастерски сработанный памятник. Это надгробие буквально за десяток вечеров Мурашов изготовил вместе со Шматком для давно покойного свекра библиотекарши прииска Пахомовой. Красочный рисунок памятника она обнаружила в одном из старых фолиантов и, положив книгу в яркий пакет, подкараулила токаря вечерком возле калитки.

— Здравствуй, Василий Кузьмич! Погоди-ка минутку. Вот, пожалуйста, уважь. Аполлонычу такой памятник хотим поставить. Помнишь его? Сорок лет на прииске Еловом проработал бухгалтером, заслужил ведь, а? Сделаешь? Рассчитаюсь, как положено.

Мурашов, поломавшись для приличия, согласился. Старшая дочь цветной тушью аккуратно срисовала эскиз. Остов Мурашов задумал сотворить из тонкой нержавейки. Азарт сложной работы постепенно захватил его.

— Был бы материал хороший, не хуже, чем для царя, отгрохали бы,— любуясь работой, подмигнул он суетящемуся на подхвате Шматку.— Аполлоныч доволен останется!

Большой калым был уже почти готов. Токарю оставалось лишь выточить фасонистые шишечки из бронзы. «Слава тебе, господи, не заметил, кажется,— покосившись на Костромина, мазнул рукавицей по лбу Мурашов.— А то начнет расспрашивать: зачем да почему. Раззвонит по прииску, до механика дойдет. А Ильин — мужик крутой».

Он остановил станок, достал из железного шкафчика очки потоньше, поблагороднее, приложился к старой муфте, а потом и к заготовке штангенциркулем. «Кажись, полный порядок. Действительно, пущай Алексей петицию на премию подаст. За срочность и за качество. Как бы это половчей ему намекнуть?»

— Готова дочь попова!

Костромин радостно закатил горячую деталь в рюкзак, нетерпеливо затоптался на высоком крыльце.

— Вот уважил, так уважил. Спасибо тебе, Кузьмич. Учту! Да не замыкай ты цех, вон мужики уже идут. Давай, поехали. Тебя домой добросить?

Мурашов хотел было сказать, что ему позарез надо к Шматку. Но неожиданно для себя выпалил.

— Я с тобой, Алексей, на драгу! Проветриться.

Ему вдруг захотелось увидеть, как поставят новую деталь, услышать одобрительные отзывы горняков и там же, под шумок, намекнуть о премии. Мол, спасибо-то на хлеб не намажешь. «Там

и пообедаю. А после можно и к Степану проскочить. Пусть думает Ильин, что я на драге».

От мотоциклистов шарахались куры. Встречный ветер выжимал слезу. Словно мелкой дробью била по лицу мошка. Через десять минут миновали захламленную окраину поселка. Песчаная дорога пошла под уклон. По малахитовым сопкам катилось вослед белесое солнце. Вскоре впереди распахнулся изрытый бульдозерами обширный полигон. По закрайкам буйно разрослись кустарник и камыш. Слюдяно отсвечивала вода в огромном котловане, опоясанном кучами каменистых отвалов. Посреди водоема замерла похожая на старый фрегат без мачт драга. Вдалеке, по осушенному руслу речушки, с урчаньем двигались два оранжевых бульдозера. Стальные отвалы могучих машин глубоко вгрызались в черную почву.

— Эй, на палубе! Лодку! Зырянов! — сложив ладони рупором, прокричал Костромин. От зычного крика в лобастую сопку толкнулось гулкое эхо.

Мурашов подхватил рюкзак с тяжелой муфтой и первым прошагал по зыбкому днищу на корму.

— Все в ажуре? — поплевав на ладони и снова берясь за весла, уважительно глянул практикант. — А я, Алексей Игнатьевич, на драге остался один. Мужиков перевез к насосной станции. Пока свободны, слесарь там просил что-то помочь.

— Сейчас оживим, сейчас. Потерпи, миленькая, — тихонько приговаривал Костромин, помогая подгребать к низкому, в металлических леерах, борту. — Нам бы, Кузьмич, только суточную съемку не сорвать. Ведь завтра я наряды закрываю. Ребятам уже премию пообещал.

Вблизи драга казалась громадной и тяжеловесной. У Мурашова от солнечной ряби слезились глаза. Раскрасневшийся, в синей майке Толян мотнул за стояк размолоченный конец, осторожно принял рюкзак и подал руку токарю.

— С прибытием вас на шхуну «Колумб».

— Но-но! — притворно погрозил жилистым кулаком начальник драги. — Лучше скажи, что на обед сегодня сполосчицы варили? В желудке будто заяц на барабане стучит.

— Уху, Алексей Игнатьич! Правда, из консервов, но есть можно. Кстати, мужики уже поели.

— Вы на это мастера. Война войной, а обед по расписанию. Пошли, Кузьмич, похлебаем. Все равно стоять, пока ребята не вернутся. Муфту надеть — минутное дело. Сам знаешь.

Костромин по железной лестнице поднялся на среднюю палубу и исчез в бытовке. Мурашов чуть помедлил и с рюкзаком зашагал на корму к насосу. «Примерю-ка ее для пущей важности».

Он присел на корточки, поспешно, ощущая в груди мятный холодок удовольствия, надел новую муфту на ось электромотора насоса. И — мгновенно обожгло ладони. Муфта свободно вращалась на оси, не заходя в свое гнездо...

Измученное похмельем сердце Мурашова задергалось как поплавок. Горячий пот струйкой потек по спине. «Мать твою за ногу, запорол! Вот так выручил, вот так помог! Да как же такое случилось? Ведь точил-то нормально. Опозорился! Насмешил добрых людей! Чертов Шматок, это он виноват. Вот тебе и фунт изюму. Что же делать?»

Словно под сильным гипнозом токарь оцепенело смотрел на злополучную деталь.

На палубу, посвистывая, спустился Толян. Снял майку, подставил под лучи палящего солнца ребристую как абажур спину, блаженно прижмурился.

— Ну как, дядя Вася, все по уму? — не оборачиваясь, звонко спросил он.

Мурашов вздрогнул, словно ужаленный. И вдруг, покосившись за борт, сдернул муфту с оси электромотора, с силой молниеносно катнул. Коротко рокотнув по железному краю палубы, она плюхнулась в глубокую воду дражного разреза.

— Мать твою за ногу!

Мурашов подскочил к борту, перегнулся через низкое перильце. По мутной воде лениво расходились мелкие круги. В притворной ярости он несколько раз сплюнул на них, бормоча ругательства.

— Что случилось, дядь Вась? — поспешил на корму практикант.

— Какого хрена не помог? — пряча глаза, накаляя себя, напустился на То-

ляна Мурашов. Он суетливо скакал от насоса к борту, свирепо махая руками — так было чуть легче врать. — Ведь звал поддержать, подхватить, она ведь горячая, одному неловко — как щука из рук саданула! Где ты шлялся, не докричаться?

Паренек ошарашенно уставился на небритое лицо токаря, молчал. Лицо его постепенно краснело.

— Да я... Вы, дядь Вась... Ну, вообще!

— Ну, что там у вас? — сверху, из открытого окна бытовки высунулся Костромин. — Жду, Кузьмич, уже налито. Что за шум, а драки нет?

Токарь, однако, сделал вид, что не слышит.

— Загорать сюда пришел! — несло его все дальше и дальше. — Бездельничать? Я тут один у насоса корячусь, хочу, чтобы драга скорее пошла, а ты сачковать? Никакого толку от вас, молодежи, одни тряпки да буги-вуги на уме. У меня ты быстро бы узнал, почем копеечка. Ну надо же было прошляться тебе!

Краем глаза он увидел стоящего Костромина и завелся не на шутку. Даже сам не ожидал. Недобрым словом помянул тупые, как утиный нос, резцы, допотопный станок, жестокого механика, дожди, свою пятьдесят шестого размера спецовку. Костромин, сочувственно хмурясь, нетерпеливо косился на лодку. Толян Зырянов ссутулился возле насоса. Он так вцепился в металлическую сетку ограждения насоса, что побелели, словно обмороженные, костяшки худых мальчишеских пальцев.

Виктор Андреевич Ештокин (Чита) родился в 1948 г. в Курской области. С десяти лет жил в Баргузине, работал плотником, лесорубом. Заочно окончил факультет журналистики ИГУ.

Публиковался в «Литературной России», областных изданиях.

Роберт **РЫБКИН**

НА СЕРЕДИНЕ ЖИЗНИ

РАССКАЗ

Космакову приходить домой становилось все труднее, тем более, что уже был получен в горисполкоме ордер на двухкомнатную секцию в пятиэтажном доме на другом краю города. Прежнее жилище — водокачка — стояло в окружении деревянных переулков, проездов и тупичков, словно посередине бесконечно запутанного разговора. В домике, построенном для защиты водонапорной колонки и согрева дежурного, отпускавшего населению воду по талонам, жилье было прескверное, да еще с такой, по сегодняшним меркам, большой семьей. Старшая дочь своими редкими визитами с мужем и внучкой взвинчивала до предела и без того накаленную, нервную обстановку постоянными разговорами о том, как они продолжают обставлять свою благоустроенную квартиру. Потому их приход по обыкновению сопровождался крупным семейным разговором. Единственный сын после службы в армии — где-то в снеговой Чукотке. Почти год болтался по каким-то курсам, увлекся игрой на гитаре, приводил многочисленных дружков сначала с водочкой и инструментами, а потом со всем этим и

сомнительного поведения девицами. Две дочери, шедшие за ним по возрасту, невестились рано, по-современному, и требовали справлять верхнее и нижнее, как у всех, а от нехваток капризничали и начинали откровенно дерзить.

И только младшая Маша была вся до кровиночки за отца, хотя именно она не приходилась ему настоящей дочерью. Это-то Космаков знал точно, да и как было не знать, когда все это: водокачка, скандалы с зятем и старшей дочерью, болтавшийся неизвестно где и с кем сын — гитарист-шестиструнник, попреки жены, что она-де числится дежурной по водоотпуску, а на самом деле в своем РЖУ тянет воз по комендантской части, и самое главное — двенадцатилетние вычеты из зарплаты, на которые, учитывая прошлое Сергея Поликарповича Космакова и его семейное положение, пошел народный суд,— все это и случилось из-за того, что на свет появилась Маша от другого мужчины при вроде бы живом отце.

Жена Тамара, которую Космаков, как говаривал он, выбрал в золотопродснабовском универмаге некогда разбойного ленского села Витим за веселый нрав и цыганскую красоту и называл не иначе как «моя царица Тамар», теперь во всем потакала детям и открыто ставила ему в укор их сегодняшнюю неустроенность, давно уверовав в свою невиновность. Космаков, хвативший с этой женщиной всякого, в основном тяжелого и грустного, все молчал да помалкивал, а когда становилось совсем уж невмоготу от горьких незаслуженных придирок, уходил из будки и распивал с кем-нибудь бутылочку, а по приходу наигрывал тихонько на видавшей виды «тальянке».

Теперь водокачка канула в прошлое, как бы оказалась на другом краю земли, хотя и оставалась постоянным предметом разговора о той плохой жизни, а для Космакова потерей последней услады — в панельной квартире сильно-то не разыграешься, разве что по праздникам. Сын скоропостижно и, конечно, неудачно расписался с какой-то почти встречной девицей, которую хорошенько так и не успел рассмотреть Космаков, а не то что поговорить: молодые сразу же на космаковские деньги укатили на Украину осчастливить и других родителей, после чего сын приехал один и, уже по-настоящему попьянствовав пару месяцев, неизвестно на какие «шиши» улетел мириться.

Космаков поднимался по крутым, до минимума узким двенадцатиступенчатым лестничным маршам, как будто бы нес на пятый этаж что-то тяжелое и неизвестное, как тогда, давным-давно в сентябре сорок пятого тащил из штаба полка на широченной спине в свою часть капитуляцию Японии и по дороге два раза снимал рюкзак и усаживался на него, и, не зная, что садится на окончательную победу — листовки, принимал внутрь из фляжки противную теплую японскую водку — сакэ; но, хотя и сейчас Космаков был на «взводе», тогда, казалось, груз его был радостный и светлый: для всех! А эта ноша, которую он, оступаясь, волок по своей жизни издалека, была никому не нужной, непонятной и неизвестной.

— Явился, красавец! — как каркнула из кухни жена хриплым, раздраженным голосом.

На что Маша, открывшая дверь по звонку, прошептала:

— Пап, не обращай внимания...

Космаков легко тронул дочь за плечо и стал снимать с себя вышедший из моды шерстяной плащ, шелковое белое кашне, безрукавку с истершимся мехом неизвестного зверя, положил на полку новую крапчатую кепи за три рубля сорок семь копеек, освободил ноги сначала от прорезиненных бот «прощай, молодость», потом от туфлей, поправил вечный галстук с застежкой на шее, прошел в туалет, подумав при этом, что вино любому арбузу даст фору, вернулся с половой тряпкой в немыслимо тесную прихожую, убрал с линолеума свои грязнодождевые следы, словно отсек себя на полсуток от внешного мира.

А жена уже подступала со своим криком:

— Я как лошадь целый день на рысях, как собака по очередям нагавкалась, а он, видите ли, раскрасавчик, опять с винищем в дом... Нет, вы только посмотрите... Хоть бы детей постыдился! Татьяне не в чем на вечер выйти, Ритка в резиновых сапогах в школу ходит —

это в последний-то класс! — а он нет чтоб лишнюю копейку...

Но Космаков на это только усмехнулся привычно, при этом верхняя губа криво дернулась — и в правом углу блеснули два чистых ровных зуба: в этом месте был рваный шрам — память о минном осколке; провел обеими ладонями по волосам, еще и теперь густым и красивым, прочно посеребренным, и так, с поднятыми локтями, вроде бы отстраняясь от жены, прошел к телевизору, купленному в кредит, и присел на новый диван, взятый в магазине тем же способом, удобным и неопровержимым, как вся нынешняя жизнь.

Старшие дочери, как загипнотизированные, ушли в седовато-синий квадрат ставшего исключительно модным нового многосерийного фильма и не повернули в сторону отца своих вздутых причесок, не поприветствовали. Да их, как давно понял Космаков, бесил не он — их отец, а раздражала нервно-крикливая атмосфера, которая устанавливалась с его приходом в квартиру. Потому он давно перестал на них сердиться и уж совсем не осуждал школу за какое-то неправильное воспитание, которое, по автобусно-скамеечным разговорам, давала пресловутая улица.

Маша демонстративно шаркнула стулом по линолеуму «под паркет», который с таким трудом доставал Космаков, чтобы отвязаться от надоевшего нытья жены, что вон у Елкиных и Самоваровых не только пол сбили, но и застелили древесно-волокнистой плитой, и который с великими унижениями из-за начальнических подписей и разрешений выписал по твердым оптовым ценам и получил на складе университета, где он работал толкачем-снабженцем без права материальной ответственности, и который сам же выбивал по всем инстанциям и различным каналам.

Так как сестры никак не отреагировали на Машины действия, то она подсела к отцу на диван и громким шепотом начала рассказывать различные школьные пустяки; про учебу и разговора никогда не было, потому что у Маши по всем предметам крепко; Космаков похохатывал, по привычке забирая нижними целыми зубами памятную военную засечку, а в один из моментов не удержался — фыркнул, на что дочери почти враз дернулись: «Да тише, вы...», а Маша, видимо, ожидавшая этой реакции, звонко-обидно откликнулась:

— А вам не мешало бы с папкой поздороваться! Второй раз смотрите, подумаешь, прыски какие — капрон им подавай каждую неделю...

— Тебя не спросили.

— Лезет везде, куда не просят.

— А вот и лезу: вы вместо телека — лишний раз в учебники.

— Мам, а чего Машка смотреть мешает!..

Космаков еще не успел вмешаться в перепалку дочерей, а только замахал перед собой рукой, как из кухни выплыла ставшая очень уж дородной Тамара Игнатьевна и, утопив белые полные руки в подфартучные мощные бедра, затрясла истерично двойным подбородком:

— Опять ты за свое — детей клевить!.. Я жаловаться буду: найду на тебя управу...

— Ну чего ты, мать, кудахчешь без толку,— незлобиво и примирительно остановил было Космаков жену.

— Нет, вы посмотрите на него: он еще и оскорбляет ни с того ни с сего. Какая я тебе курица, сам ты петух без насеста. Сил моих больше нет жить с таким паразитом. Вот напишу куда следует.

— Ну завела опять вектролу на вечер: ничего ведь особенного и не было. А насчет — жаловаться, — начал укрепляться голосом Космаков и встал, — это ко времени, все поспело-переспело: криминал налицо. Отец не следит за воспитанием детей, выпивает, устраивает сцены, лишая семью спокойного просмотра телепередач, не выполняет супружеского долга, а главное, ответчик с сегодняшней зарплаты погасил, наконец-то, недостачу, которую так... так любовно накрутила дрожайшая половина, а вторая так любезно тринадцать лет раскручивала. Боже мой, тринадцать лет каторги...

Тамара Игнатьевна задохнулась от такого неслыханно-смелого выпада, но сразу же взяла себя в руки, боком плюхнулась на кровать и зарыдала с надрывом и причитаниями:

— Изверг, изверг... всю кровь из

меня выпил... всю жизнь мою изломал...

Космаков со словами: «Да брось ты комедию ломать — надоело» щелкнул выключателем — загорелась одна лампочка в люстре, он нажал второй клавиш — вспыхнули еще две.

— Машку жалко, — продолжил он, — да теперь пора, в шестой ходит. Вижу, голова у нее своя, хорошая голова: плясать под вашу дудку не будет. Вот сыночка с невестушкой дождусь с их Викрайны милой — объявлю честно: ухожу. Хочешь, хоть завтра на развод подавай. Хватит — потянул лямочку, пора этот узелок разрезать, раз не сумел или не хватило ума вовремя развязать. Да и староват я стал на раскладушке спать, полы подтирать. А впрочем, не каждому приходится на склоне лет жизнь по-новому начать, как специальность-профессию сменить.

Дочери все так же наблюдали за очередным хитрым ходом адъютанта его превосходительства, а Маша, сдвинув осиновые сережки бровей, твердо, совсем по-взрослому, решила:

— Давно бы так. А я — хочешь или не хочешь — с тобой, слышишь, папа. Я тебя не оставлю, вот...

— Да не отец он тебе, дурочка...

Из телевизора ухнула бомба, потом раздался душераздирающий крик, процокали подковами кони, и все смолкло — кончилась очередная серия. В квартире стало тихо.

— Ну в таком случае... уж совсем ты, мама, — мне не мать, — спокойно, как о давно решенном, сказала в эту, еще не остывшую, тишину Маша и, положив ладони на лицо, пошла под драпировку в другую комнату.

— Что ты натворила, полоумная!.. — тихо сквозь стиснутые зубы воскликнул Космаков.

— Вона... хватился. Да она давно про это знает, — сузила совсем не заплаканные глаза Тамара Игнатьевна.

— Тем лучше, тем лучше, — не найдясь, что сказать, забормотал Космаков и сразу почувствовал, что в той тяжелой ноше, которую он столь долго носил в себе, не стало неизвестности, которой была Маша — самый дорогой и близкий человек, и Космаков ощутил такую легкость, словно он только что разминировал мину хитроумной конструкции.

Космаков вышел в коридорчик, взял со стиральной машины выставленную по приходу бутылку светло-коричневого «Агдама», на кухне взял стакан и карамельку и пошел к Маше, перед гобеленовыми шторами обернулся и сказал:

— К нам не входить. Ясно!?

— Маша сидела на кровати, здесь же стоял старый (пока) платяной шкаф и списанный в конторе РЖУ канцелярский стол; сюда же приносил с балкона Космаков и расставлял холодную дюралевую раскладушку.

— Ну что, Маша?

— Ничего, папа. Ты ведь не оставишь меня здесь? Слышишь, п а п а?

Космаков понял ее интонацию, и от этого заволокло его таким плотным, нежным, благородным, счастливым, горячим, тугим, сердечным и невысказываемым туманом, что у него не нашлось слов, а он только смог потрогать Машу за коленку; потом налил в стакан вина, откусил от карамельки, а остаток протянул Маше и сказал, как на страшном суде:

— Вот увидишь, я пить не стану. Мы с тобой отлично заживем, по-новому. Посвоему...

— Я знаю, папа. Я тебе верю. Только скорее бы, — отвечала Маша, хрустя конфеткой; а Космаков подумал, что Маша-то в сущности совсем еще ребенок, но сказал другое, обыденное:

— Давай, дочка, спать ложиться — утро вечера мудренее.

— Неси кровать — я тебе постелю.

— Хозяюшка ты моя будущая, — обнял Машу Космаков и неумело прикоснулся губами где-то под ухом.

Вот уже три месяца, как Космаков с Машей жили далеко на севере области, и двухкомнатная секция в областном центре над Ангарой, вблизи кирпичного завода и почти рядом с плотиной ГЭС, по которой в будущем должны пускать кольцевой троллейбус, была такой неправдоподобной и далекой, что не прошедшая, а настоящая жизнь казалась Космакову сном, наверное, оттого, что сон всегда бывает новым, а вернее: бывшее и еще только намысленное сны превращают в небывалое.

И только теперь у Космакова оказалась уйма времени, когда стало возможным окунуться в прошлое и, хотел он этого или не хотел, попробовать развязать все свои жизненные узлы. Космаков с детства научился различать упряжную петлю от петли с лесным узлом, а попав в сорок первом в морфлот, не оставил своей тайной страсти и вник во все премудрости узлов и петель: простых и неправильных (бабьих), булиней, шоковых, петель со штыком, хирургических и пикетных и, конечно же, морских способов крепления веревок к брусу. Потому, сидя в вахтовые дни в сторожевой будке, представлял он свою жизнь в виде крепкой джутовой веревки, на которой Космаков не спеша рассматривал вроде бы все свои узелки и петельки, а получалось, что стягивал Сергей Поликарпович Космаков пятьдесят пять лет жизни в один узел.

Последний, или, как представлял про себя Космаков, пикетный узел начинался для него здесь, в деревянном городке на островах, среди воды — на середине жизни, которую он отметил не прожитыми годами, а временем половодья. И это казалось ему хорошим предзнаменованием! Маша успела около месяца походить в новую школу и оставила о себе отличное впечатление, чему соответствовали оценки в переводном табеле; двоюродная тетка по отцу приняла их по старой памяти радушно: имели они с Машей хоть не свой, но теплый угол — отдельную комнатку в старом-престаром, а еще крепком доме, срубленном из листвяков «в лапу»; сам он, Космаков, отказался даже от мысли идти на работу со всякими там цифрами, платежными поручениями и фактурами, а надел форму военизированной охраны с кобурой на ремне.

День был горячий, иссиня-светлый, такой, каких мало в природе, потому что запоминаются больше дождливые затяжные дни, особенно летом, и даже если таких мрачных дней бывает совсем мало, но случаются они не ко времени, то потом говорят, что лето было нынче плохое. Но для Космакова лето было прекрасным, и этот день отдавал свежестью от близкой реки, настоянным запахом береговых трав и различных смол, светло и жидко выступивших на всем деревянном.

Ограда охраняемой Космаковым универсальной торгово-оптовой базы была сколочена из трехметровых досок и по инструкции имела по верху ожерелье из колючей проволоки, через которую нет-нет да и прыгали подвыпившие грузчики с оттопыренными карманами.

Космаков уже сумел выкроить полчасика — сходил в базовскую столовую, но не поел там, а поговорил так себе, ни о чем, но душевном и значительном для обоих с землячком Марией Арсентьевной — поваром — и теперь сидел на скамеечке, не по уставу прислонившись к смолистым доскам, и, глядя на реку, наблюдал за самоходным паромом, за катерками и огромными, наверняка ходившими по морю баржами на собственном ходу, за буксирами, тянувшими длинные караваны, или, по-речному, «возы», высматривал в лодках с подвесными моторами старинных друзей и новых знакомых, любовался маленькими степенными рыболовами всевозможных мальков, пеструшек и даже усатиков-гольянов. А память услужливо предлагала Космакову очередной, связанный с настроением, узелок из близкого далека — детства, когда его, шести-семилетнего Сережку-гармошку, прозванного так за удивительные для всей округи музыкальные способности, возили в кошеве, закутанного в тулуп, сплавляли на лодках в жару и в ливень, а в ближние деревни носили на кукорках ради удивления и развлечения на различные торжества с песнями и плясками, а «тальянку» маленького гармониста, купленную по случаю на плавучей ярмарке, оберегали особливо, с почтением и крестьянской бережливостью.

И когда (после шестимесячного ожидания дела о разводе между супругами Космаковыми) их младшая дочь Маша заявила на суде, что жить она хочет и будет только с отцом, у них и добра-то житейского оказалось на двоих, кроме старого фанерного чемодана с платяным барахлишком отца да узла с незатейливыми вещичками дочери, сложенными в в плюшевое одеяло, отданное на память Маше непрекращаемо-плачущей Тамарой Игнатьевной, две гармони — старая из детства, имевшая звук, хотя и разбитый, но сладкозвучный, и новая — громкогорлая тульская «двухрядка», которая и го-

дилась-то, по мнению хозяина, только для плясовых и частушек.

И — всплыла одна, услышанная когда-то Космаковым здесь же:

До всего народ доходит —
Самовар по Лене ходит...
Скоро я на нем уеду:
Не найдешь, милашка, следу.

День горел солнцем, и так оно наполнило воздух световой жарой, что даже Космаков, любивший во всем морской порядок, расстегнул железную закорючку на форменном кителе, давившую в самый что ни на есть кадык, и не то чтобы снял зеленую фуражечку, а так приподнял ее несколько раз, выпуская с головы горячий дух; а Маша, лицом вся выцветшая, но телом черная-пречерная, в самый раз доставила окрошку из погребного кваса, сбросила цветной халатик и засверкала пятками под откос, чтобы упасть в ленивую теплую воду. Освободив кастрюльку от окрошки, Космаков отдышался, протер платком лицо и шею и подумал о том, что, когда шли в последний раз рейсом из Сан-Франциско, было гораздо жарче, но вот так же спокойно, хотя «морским охотникам» приходилось еще зорче приглядываться к океанским волнам: а вдруг «рогулька». Космаков встал, закрыл дверь проходной изнутри и не спеша пошел вдоль забора, чтобы сделать предусмотренный охранным положением обход в обеденный перерыв, а в голове помимо воли возникли и поплыли воспоминания о том воскресном июньском утре, когда от тихости и определенности в мирной жизни не осталось и следа.

Тогда Космаков не так как сейчас, а бодро и быстро шел от любимого своего рыбачьего места — Малой Виски, где с вечера, нацепляв на крючки жирных дождевых червей для стерлядок, назабрасывал в песчаную галечную отмель десяток закидушек, а потом, довольный ночным уловом и гулким ясным утром, обходил поселок по дуге лесом, чтобы принести полностью в дом хорошее настроение, не расплескав удачу в непредвиденных уличных разговорах.

И с того дня, так хорошо и радостно начавшегося, жизненная дорога Космакова Сергея Поликарповича скрутилась в такую огромную по расстоянию, физически и морально тяжелейшую восьмерку, начало которой кровными нитями осталось на изломе Севера и Сибири — в Витиме, а сама петля, пройдя через военкомат, куда сразу же, не дождавшись стерляжьей ухи и повестки, пришел двадцатипятилетний юридический консультант базы «Золотопродснаб», поплыла своей нитью на другой день вверх по Лене-реке, через некоторе время запрыгала по трактовым ухабам от Качуга на Иркутск, потом затряслась и простучала по железной дороге до Владивостока и, остановившись почти на год в минно-торпедной школе, нижним своим полукружьем не раз и не два, но каждый раз избегая, откручиваясь от смерти, оказывалась у берегов Америки, где мичман Космаков, отвечавший за боевое хозяйство на морском охотнике, отдавал швартовы в Сан-Франциско и спускался по штормтрапу в Лонг-Бич.

Изнурительные походы по проводке торговых транспортов только изредка окрашивались отдыхом в американских портовых барах и кабачках, куда мичман Космаков и друг его старшина первой статьи Ремизов Сашка приходили при баянах, и негры от их игры дуэтом, солнечной лени только что не ходили на головах, а когда бравый русский моряк, схватывавший любую музыку на слух, начинал выдавать джазовые фокстроты и блюзы, горячая веселая публика, сама хорошо понимавшая и любившая музыкальное исполнительское мастерство, относила друзей к пирсу на руках.

И то, что у Космакова дома в положенные сроки родился и рос сын, а дочка уже собиралась в школу, что счастливо ранило его от своей же плавучей мины у самого пирса: Сашку — в клочья, а Космакова спасли кнехты, эти парные тумбы на общей плите, за которую при взрыве он успел упасть, а очнулся на госпитальной койке, после которой был списан на берег дослуживать при штабе в канцелярии за строгий, хотя и чуть растянутый почерк,— все это предвещало благополучную закрутку восьмерки там же, на Лене, но лишь в другом селе, куда жена перевезла семью к свекру и свекрови; да так все и оказалось — круг замкнулся.

Тогда, в один из осенних дней, после трудного пути возвращения в кругу счастливой семьи и родни, разбиравшей объемистые чемоданы с китайскими и

японскими тряпками, Космаков, блиставший морской парадной формой, медалями и настоящим кортиком на правом боку, не придал особого значения переезду семьи, а пошел работать адвокатом в народный суд, так как имел диплом об окончании высшей юридической школы в городе Якутске, а потом по партийной линии был назначен директором Приленского леспромхоза. Но по истечении некоторого времени поползли по районному центру какие-то неопределенные слухи о вольном и веселом житье-бытье его царицы Тамар в Витиме, которая и теперь не блистала примерным поведением на своем маслозаводе, да и на праздничных гулянках, разодетая в пух и прах японскими панбархатами-шелками и китайскими крепами, вела себя вызывающе кокетливо для матери троих детей — родилась дочь, которую, по моде на иностранные имена, вспыхнувшей после войны, нарекли Марго, а называть пришлось просто Ритой. И Космаков, чтобы сменить скомпрометированную семейную обстановку, вывез семью в областной центр на Ангаре, где снова пошел по юриспруденции. И опять родилась дочь. А в городе сильно-то не разживешься на интеллигентское жалование, учитывая при этом запросы жены, и Космаковы снова переехали поближе к родным местам, в село под Качуг, где приняли орсовские склады под обоюдную ответственность.

Космаков на намеки злоязычной родни и услужливые подсказки друзей-знакомых насчет жены отреагировал и решил раз и навсегда здраво и по-мужскому, что все-таки мужикам воевать было легче, чем женам дожидаться, да и сам он, чего греха таить, был не ангелом, потому перед женой крепился, стараясь всеми силами сохранить семью, не выдавал себя ни единым словом-намеком, тем более что он мог и не вернуться с этой мясорубки, да и не представлял, по-трезвому, как это можно выдержать физически столь долгое время, особенно женщине.

Но когда началась эта обеспеченная, но дикая житуха, связанная с бухгалтерией, деньгами, подотчетными и неподотчетными, получением и выдачей товаров, обязательно почему-то с выставлением магарыча, то тут-то Космаков точно проморгал, да и не мудрено было, какого-то разбитного шофера, а может, кого и повыше. И все те пять лет, проведенные в бесконечном угаре: товарообмене, ревизиях, отчетах, недостачах-излишках закупа скота от населения и приема дикорастущих, конечно же, не могли пройти бесследно, и Космаков, попав в эту петлю-удавку, на суде взял все на себя, считая в душе себя виноватым, как главу семьи, ведь он при любых торговых ситуациях старался вести дела аккуратно и принципиально, главное, бескорыстно, чего никак не могла уразуметь и принять жена, на правах дипломированного торгового работника ведавшая бухгалтерией и основными денежными операциями, но что так предельно ясно разъяснила выездная сессия суда, подчеркнув сумму недостачи с большим количеством нулей, которые по приговору пришлось Космакову зачеркивать долгих тяжелых тринадцать лет.

Обход свой Космаков закончил, когда окончился двухчасовой обеденный перерыв. На базу стали заходить машины с грузом и без. Дотошно проверял Космаков шоферские сиденья и нет-нет да и обнаруживал что-нибудь такое, вроде бутылки русской или дефицитных лососевых консервов, и сразу же, несмотря ни на какие уговоры и просьбы, составлял акт, чем с первых же дней обратил на себя внимание начальства и ловил нехорошие взгляды грузчиков, экспедиторов и шоферов. Но он, Космаков, вовсе и не хотел выслуживаться и не изменился, а просто-напросто оставался самим собой, считая всю свою путевую и непутевую жизнь, что совесть и честность при любых жизненных перипетиях превыше всего.

Солнце все катилось по непонятному кругу, пока не скатилось за пирамидальную гору на другом берегу реки, разбросав во все стороны огненные лучи, которых днем почему-то не бывает видно. Кузнечиковый музыкальный разнобой в буйном сорниковом разнотравье и щебетание, пиликание, высвисты птичьей мелочи настраивали Космакова на умиротворенный, хозяйственный лад, заглушая в нем воспоминания. Он особенно тщательно подмел веничком из молодой лебеды пол в будочке, метлой — возле поста, дожидаясь сменщицы. Но неожидан-

но пришел Александр Иванович Скрипкин, начальник, и попросил:

— Сергей Поликарпович, Розу-хохлушку опять видели веселой в компании, а я никого предупредить не успел. Не останетесь ли до утра? Вам же водочку не пить, значит, некуда спешить.

Космаков промолчал — согласился. Тогда Александр Иванович заговорил снова, поджимая тонкие блеклые губы, но уже о другом:

— Да, такова жизнь, милый вы наш, Сергей Поликарпович... — то ли осуждая его, то ли сочувствуя ему.— Живешь, живешь и не знаешь — для чего... какой он есть выход к ней. А я по Витиму помню супружницу вашу: красавица была. Я даже, знаете, грешным делом за ней приударить собирался, да не такова — не подпустила.

«Куда тебе квелому да рыхлому»,— подумал безболезненно Космаков.

— Да и не я один, ха-ха-ха... — решил сгладить разговор Скрипкин.— Хорошо вам — один с дочкой и совсем не пьете, всем бы так. А я от своих разудалых не знаю на какой бы край света умчался. Да и жена, знаете ли... не то... не мед... что ни говори. Вот так и маюсь. Так как, повахтуете? — заключил Скрипкин, не чувствуя поддержки в беседе.

Космаков согласился — промолчал. На реке протяжно и длинно попросил остановки колесный пароход, как бы утверждая согласие стрелка-бойца военизированной охраны перед начальником.

Тут прямо-таки прилетела Маша:

— Пойдем домой. Скоро ты? Есть страшно хочется...

— Ничего не выйдет, Маша. Попросили подежурить — человек не вышел.

— Вот так у тебя всегда — отказаться не можешь. В кинуху бы сходили...

— Ну что же, Машенька, раз надо — значит, надо. А ты дуй-ка домой, сама поешь чего и мне наладь. Да принеси мне бумаги с конвертом и гармошку — все не так скучно будет.

— Какую гармонику-то? — улыбнулась понимающе Маша.

— Это ты правильно подметила — какую? Гармонь тоже настроение любит. Тащи не магазинскую, а ту, которую я у бабки Садохиной выманил.

И вот сидит Космаков в охранном домике и заполночь, собравшись с духом, составляет письмо на тумбочке сестре своей любимой. Пишет хотя и размашисто, но красивым, тонким, с канцелярскими завитушками почерком.

«Дорогая сестра, уважаемые: зять Коля и дети с внучатами, которым несть цифер, северного здравия вам желаю и счастия в дом!

Жизнь моя протекает на данном этапе благополучно, наконец обрел я и физическое, и душевное равновесие. И ведь надо же — где? — снова в родных пенатах. А если по-родственному, то я белой завистью завидовал вашему миру и согласию, которое зовется в народе счастьем при столь большеротой семейке. Эту зависть мою можно и должно понять, и если я надумал написать вам это письмо, то только по той причине, что счастливый человек может быть понят счастливыми людьми. Счастье мое маленькое, простое, но, как мне кажется, человеческое. Конечно, разрушена семья, которую я упорно пытался связать в один узелок всю свою жизнь, которая мне теперь кажется одним непрерывным переездом из ниоткуда в никуда.

Основное: мы очень дружны с дочерью и понимаем друг друга, и она очень-очень любит меня, не знаю за что. Работа у меня не бей лежачего: служу в охране; да еще думаю прирабатывать на пенсию: по старой штабной выучке заняться переплетным делом. Ходим по старой памяти с Машей рыбалить на закидушки. Рыбешка — чистый керосин, но все же удовольствие. Разживусь — куплю лодочку: приезжайте в отпуск отдохнуть на нашу Лену. Я к тому времени думаю быть с собственным углом. Но не просто пишу вам. Мне под шестьдесят, а я у вас прошу помощи и совета как молодой — разучился завязывать «бабский узел». Ну это смехом. А серьезнее: встретил я тут одну хорошую женщину, вдовая, с детьми взрослыми, правда, помоложе. Семью вы ее должны помнить: Исаева Арсения Петровича дочка. Мы с ней обо всем переговорили, и все бы ничего: да весь вопрос в моей Маше, а так хочется пожить еще в мире и согласии. Просто ума не приложу, как тут быть: Маша уехала — отказалась от родной, а тут — на тебе —

мама-мачеха... А вы бы погостили недельку-другую, как-нибудь там подготовили ее, объяснили бы, что ли, что у меня еще не вся жизнь прожита. Сам же я никак не могу и, наверное, никогда не осмелюсь объяснить, сказать ей об этом — вдруг отказ: и тогда снова все в моей жизни рухнет.

Уповаю только на вас и жду положительного ответа.

Об остальном: встречаю много родных и знакомых, погода стоит жаркая — обещает таежный урожай, увлекся снова гармониями, в общем «а в остальном, прекрасная маркиза... за исключеньем пустяка...»

С уважением к вам

Космаков Сергей Поликарпович».

Роберт Иванович Рыбкин родился в 1940 г. на берегах Лены. Учился в летном училище. После окончания Иркутского университета преподавал в школе русский язык. Был корреспондентом, работал в геологических партиях, сопровождал грузы на Лене.

В настоящее время работает егерем.

Живет в Иркутске.

В альманахе «Сибирь» публиковались повести и рассказы.





Исаак БРО

САЛЮТЧИКИ

Ушла война в Германию, в Европу...
А коль отстал по молодости лет,
другим брать города и дальше топать,
тебе — давать салюты в честь побед.

У старшины мы — «блеск военной славы».
«Берем» ли Ригу или Кенигсберг,
Софию, Бухарест или Варшаву:
— Ну, что, дадим по фрицу фейерверк?

Как раз наш год добрался до Берлина,
и старшина вдруг начал утешать:
— Эх, не на нем же свет сошелся клином...
А вот на чем, так и не мог сказать.

Даем салют. Едва стволы рвануло —
и снова шутки, так заведено...
Я плохо слышу, оглушенный гулом,
но я смеюсь и плачу заодно.

ВЕТЕРАН

Он ожидал повторного показа
и медлил телевизор выключать.
Опять весна, и он, как по приказу,
в Берлине сорок пятого опять.

Последний штурм бушует на экране.
С душой поставил битву режиссер!
Вот только боль слышнее в старой ране
под орудийный хриплый разговор...

А кое-что неверно или длинно.
Свободно сократить могли на треть.
Но он прощает все за штурм Берлина,
пусть полчаса придется потерпеть.

БАЙКАЛУ

Пусть поздно — наконец-то наша
настала свидеться пора,
в гранит оправленная чаша,
природы щедрая игра!

Тебя хранят крутые склоны,
как стражи тайное хранят,
не спят щетинистые кроны,
волнуясь близостью утрат.

А через годы, через чащи
бросаешь миру вызов ты,
влечешь тревожнее и чаще
магнитом строгой красоты.

К тебе летят из дальней дали
побыть с тобой наедине
и утопить свои печали
в твоей спокойной глубине.

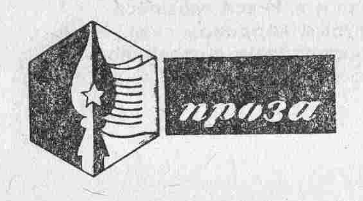
Пришел и я. И все забылось
за голубым кордоном скал,
и сердце полно в лад забилось
с прибоем волн твоих, Байкал.

□ □ □

Коришь меня, не слыша оправданий...
Убийственно знакомая тоска!
Так ждешь тепла — продолжить изысканья —
и внемлешь передачам «Маяка».
А дикторша прогноз читает лихо:
— Гидрометцентр Москвы передает:
на европейской части — солнце, тихо;
в Сибири — снег, туманы, гололед...

Исаак Маркович Бро (Иркутск) родился в 1932 г. в г. Днепропетровске, там же окончил инженерно-строительный институт. Работает топографом. Печатался в периодической печати.

В альманахе «Сибирь» публикуется впервые.





Петр ПАНЕЦКИЙ

СТАНЦИЯ

РАССКАЗ

Сумерки. Небо и все вокруг затянуто той мглистой дымкой, что всегда дает ощущение и бесконечной прозрачности, и размытой границы.

Сентябрь. Уже сейчас веет по низу растылостью, к ночи она обернется заморозком, к утру обметает траву инеем, а воздух насытит тяжелым туманом.

На станции оживленно. Поезд приходит в первом часу ночи, но все ожидающие его уже здесь. Здание вокзала современное, небольшое, приземистое, из бетонных панелей. Внутри несколько рядов сидений из гнутой и покрытой лаком многослойной фанеры, все они привинчены к трубам и образуют общие длинные скамьи. На них и расположились будущие путешественники.

Снаружи, вдоль рельсов, метров на пятьдесят вытянулся усыпанный белой мраморной крошкой и утрамбованный людскими ногами перрон. В двадцати метрах от входа в здание вокзала на оставшемся еще зеленом пятачке травы расположился небольшой цыганский табор.

Это свой мир. Здесь слышны крики никого не стесняющихся мужчин и женщин, визг и плач ребятишек, не поделивших какую-то тряпку или игрушку. Все происходит так, словно и не существует станции с ее бурлящим потоком, ее жизнью и заботами. Создается впечатление, что не табор остановился у станции, а станция оказалась при таборе.

Тимошин, вышедший на воздух, стоит и с любопытством смотрит на это скопление. Ему лет тридцать, он в кепке и плаще из плотной коричневой ткани. Плащ удобный, обносившийся, немаркий, в таком только и бывать в поездках. Тимошин специально купил его, устроившись работать на железную дорогу сопровождающим грузы. Сегодня, сдав груз и оформив документы в товарной конторе, он возвращался. Работа была ему в новинку. Он не привык еще к обыденности и надоедливости разъездов, не знал куда деть себя в ожидании поезда, мучился неприкаянностью, и потому наблюдать за жизнью табора для него — развлечение.

— Дяденька, дай копеечку,— услышал он откуда-то снизу идущий голос и с изумлением увидел стоящую в метре от него девочку. По неуловимым признакам стало понятно, что она из табора, хотя в круглом личике ее еще не было ничего цыганского. Волосики были русыми, светлые глазенки лучились такой искренней хитринкой, что Тимошин и сам улыбнулся и непроизвольно хитро сощурил глаза.

— А зачем тебе копеечку? — неожиданно для себя спросил он, вдруг озаботившись смутными педагогическими мотивами.

— А хлеба купить,— не смутившись, ответила девочка и добавила: — А я тебе спляшу.

— А ну как мамка узнает, что ты деньги просишь? — припугнул Тимошин, как-то подсознательно чувствуя, что здесь что-то не так, хотя бы то, что на копеечку не купишь хлеба.

— А она меня сама послала,— выпалила девчушка, как бы по достоинству оценив шутку Тимошина, и повела плечиками в таком же, как личико, замызганном платьишке.

Было в этом движении и во всей этой девочке столько радостной жизни, искренней доверчивости, уверенности и понимания, что и дядя включится в эту игру с копеечкой искренне и с радостью: Тимошин хотя все еще копался где-то в нравственных завалах всего происходящего, но уже непроизвольно полез в карман. Он вынул горсть монет и, увидев, что среди них нет медных, выбрал самую блестящую десятикопеечную и вложил в маленькую грязную ладошку.

Взглянув на сияющую монетку, девочка вскинула взгляд, сжала пальчики в кулачок и, неожиданно подпрыгнув и кинувшись бежать, восторженно закричала:

— Обманула!.. Обманула!..

Тимошин остался на месте, провожая ее взглядом, ошарашенный таким неистовым взрывом восторга и думая, что, может быть, он ослышался и эта пятилетняя добытчица кричала другое слово.

Девчушка, обегая группки сидящих на подстеленных одеялах людей, оказалась около молодой еще женщины и, захлебываясь и жестикулируя, что-то объяснила ей. Мать деловито забрала у девочки деньги и сунула их в ворох бесчисленных цветастых складок оборчатой юбки. Тимошин думал, что мать хотя бы оглянется на жертву своей дочери, но обе они как ни в чем не бывало занялись другими делами.

Становилось прохладно, и это чувствовалось, хотя Тимошин был в плаще. Он постоял еще несколько минут, переводя взгляд с одного на другое, и тут увидел цыганку, которая в десяти метрах от него, уложив на бугорок сверток, уверенными быстрыми движениями развязывала и разматывала его. Под невообразимым количеством тряпья показалось белое тельце трех-четырехмесячного ребенка. Не обращая ни на кого внимания, хозяйка развязывала другой узел белья и, вынув из целой груды нужную ей, видимо, сухую тряпицу, заменила.

Все это время ребенок, крутя головкой в разные стороны и бессмысленно тараща глаза, старательно и сосредоточенно сучил ручонками и ножками, словно и не было осенней вечерней сырости и стужи. Мать минуту спустя, спеленав свое чадо, тут же вытащив тощенькую грудь, сунула бурый сосок ему в рот и занялась кормлением.

«Ну вот,— с облегчением подумал Тимошин, которому даже стало холоднее от боязни за голого ребенка,— потому они и закаленные, как черти, и в палатках ночуют, и простуда их не берет. А у наших детей в этих детских садиках да благоустроенных квартирах вечно не понос, так золотуха».

Он думал так, совершенно забыв, что сначала чуть ли не кипел от возмущения, глядя на обращение мамаши с грудным дитем.

Теперь уже достаточно смерклось и по-осеннему рано зажглись станционные фонари, пока еще мало дающие рассеяного света и только сгустившие тьму.

Тимошин вошел в вокзал. Люди сидели, дремали, выставив ноги в проход, затолкав под сиденья узлы и чемоданы, играли в карты «на высадку». Воздух становился жарким и спертым, и хотя никто не кричал, не перекликался, всюду стоял разноголосый гомон. У маленького окошечка кассы заранее столпился народ, несмотря на то, что до поезда все еще было далеко, а билеты продавали только за час до подхода. Тимошин, послонявшись среди других и не найдя, где притулиться — все места были заняты, сидели даже на чемоданах и рюкзаках,— снова подался к выходу. Выйдя в тамбур, он втянул воздух, напитанный запахами табачного дыма, и будто вспомнил, чем себя занять; надо было покурить.

Тамбур был неширок, и, наверное, поэтому Тимошин прислонился к стене, оставляя место для прохода. Напротив Тимошина оказался мужчина одного с ним роста, с непривычной для глаза пронзительно-бледной, как картофельный росток, кожей лица.

«Будто он в подземелье всю жизнь пробыл»,— невольно мелькнуло у Тимошина. Он вынул папиросу, крутнул ее в пальцах, чтобы размять табак, дунул в мундштук и, кивнув соседу, попросил:

— Прикурить можно?..

Мужчина не протянул зажженную сигарету, а полез в карман стежонки, достал оттуда и подал коробок. Тимошин

прикурил. Сосед так же молча спрятал спички. Затянувшись и выпустив струю дыма, Тимошин поблагодарил и тут же встретился глазами с соседом. Что-то необычное сразу почувствовалось в этом взгляде. Он не был любопытным или равнодушным, вызывающим или презрительным (свои, мол, спички иметь надо), нет, он был каким-то отчужденным. Тимошин ощутил какую-то неуютность в этом молчаливом стоянии и разглядывании. Он посмотрел в упор, но в серых зрачках напротив ничего не дрогнуло и не ожило. Человек глядел как бы и прямо и в то же время словно бы и сквозь тебя, как смотрят отсутствующим взглядом на занятную козявку, думая о чем-то своем. Тимошин понял, что его просто не видят, он зашевелился и заговорил так просто, чтобы нарушить начинающее леденеть молчание:

— Телогрейка-то к месту сейчас, в самый раз...

Что-то сдвинулось от звука Тимошинского голоса в глазах соседа, и осмысленность, словно приближаясь с далекой орбиты, все ярче светилась в зрачках. Наконец он с неохотой и даже как бы с трудом ответил:

— Так, по случаю, холода́...

И голос у него был холодный, бесцветный и твердый.

— Ну да... Сибирь... Север,— с готовностью согласился Тимошин. Он лишь теперь невольно окинул собеседника быстрым взглядом. Стежонка действительно была только что из магазина, как и кирзовые сапоги с еще блестящими, не забившимися грязью и пылью порами, а вот голова с зачесанным набок коротким чубчиком оставалась непокрытой. Бросилась в глаза и неопределенность возраста мужчины из-за мучнистой бледности его лица, и лишь крутые скобки морщинок вокруг прямого рта да резко вырезанных ноздрей выдавали его. И все равно можно было дать ему и тридцать и сорок. Неожиданно Тимошин уяснил, что мужчина не сам по себе, но и с товарищем. Друг его был невелик росточком, если не сказать маленьким, и выглядел значительно моложе, может быть, по малости своей, а может быть, из-за более живого и откликающегося на все происходящее личика. Он стоял рядом и тоже курил, но так незаметно и бесшумно, что оказывался как бы в тени. И только при начавшемся разговоре он шевельнулся и оживился.

— В командировку? — вопросительно продолжил Тимошин, непроизвольно разумея под этим, что и сапоги новые и телогрейка — все это выдано по такому случаю как спецодежда.

— Нет, купил все, два дня, как откинулся,— ответил мужчина, безошибочно истолковав подоплеку вопроса.

— Как? — не поняв конца фразы, переспросил Тимошин.

— Откинулся, говорю, два дня как прошло, освободился, значит,— ровным и равнодушным голосом пояснил собеседник, как бы всем своим видом говоря: «Я тебе разговор не навязывал, сам захотел, ну так пожалуйста».

Тимошин и сам вдруг сообразил все это, и мысли его всполошились. Боязливое и опасливое любопытство забилось в мозгу его. Он сразу вспомнил о том, что бывшие заключенные терпеть не могут расспросов о прошлом, за что да почему сидел, понимал и сам, что вопросы в таком случае задавать неприлично. И он прикусил язык, чуть ли не на лету поймав рванувшийся вопрос, несмотря на распиравший его интерес. Сглотнув от неожиданности слюну и не зная, что ответить на такое признание, он невольно пробормотал:

— А-а-а-а, а я смотрю, чего это ты бледный такой...

Тимошин от внезапности поворота разговора на такую стежку даже форму обращения выбрал более доверительную и близкую, все получилось нечаянно, ему и в голову не пришло назвать собеседника на «вы».

— Побледнеешь — там,— выдохнул сквозь зубы мужчина.

— Теперь домой, значит,— снова вырвалось у Тимошина, так как он совершенно потерялся и не знал, что сказать.

— К матери...

— Ну да, конечно, к матери, к жене,— подхватил чуть ли не радостно Тимошин оттого, что разговор не оборвался.

— Нету жены, убил я ее... — он произнес эти слова буднично и твердо, словно жестокость в их звучании была для него привычна и неизбежна.

— Ка...эк? — подавился своим вопросом Тимошин, совершенно ошарашенный

услышанным и не успев еще толком испугаться.

— Да так вот, за пакость ее,— обыденно ответил мужчина, как бы и сам с собой разговаривая и на вопрос Тимошина отвечая.

В этот момент через тамбур между ними прошли к поезду пассажиры, собеседники прижались к стенкам, пропуская людей, разговор оборвался.

В голове Тимошина началась свистопляска и все смешалось, мысли, не успев достаточно вразумительно оформиться, тут же сменялись другими, те в свою очередь были отрывочны и неясны. Жутко и страшно стало даже стоять рядом с настоящим убийцей, хотя тут же подмывало спросить, как убил: ножом, топором, кулаком, за что убил, что это за пакость надо сделать, чтобы смерть заслужить? И тут же цеплялся, всплывал и заново тонул другой вопрос, что значит «заслужить» и кто судить вправе, жить человеку или не жить, пусть даже после самого плохого поступка, пусть даже совершенно ужасного, разве сам он, напротив стоящий, сам он считает себя вправе спокойно жить, совершив это злодеяние, может быть, даже и понеся за это наказание в десять лет, да разве есть за жизнь человека достаточное наказание?!

Тимошин поднял и тут же опустил глаза, просто боясь взглянуть в лицо его как следует, тут и любой из этих вопросов-то задать невозможно было. Если он такой человек, то ведь чуть что не по нему, он и захлестнет сразу же, не раздумывая. Если он т а к о й человек... мысль Тимошина зацепилась и застопорилась на полном ходу. Действительно, если т а к о й, а если совсем н е т а к о й, если это он страху нагоняет, а то и просто врет? Да нет, где уж там врет. Таким голосом не врут, таким голосом, даже себе на горло наступая, правду говорят.

Тимошин поднял взгляд, чувствуя, что если он будет прятать глаза, то и это может быть расценено как попытка уйти от разговора, так некстати и неожиданно им же вызванного. Непостижимым и необъяснимым чутьем Тимошин понял, что собеседник в данный момент словно отвлекся от своих важных и нужных мыслей и вынужден заниматься им, Тимошиным, во всем поведении которого так и сквозит праздное и обывательски-сладострастное любопытство, смешанное с удивлением и страхом, а никак не с участием, не говоря уж о попытке понимания.

В зрачках мужчины, смотревшего теперь прямо на него, словно застыли льдистые морозные иглы. Было в этом холодном взгляде нечто от беспристрастного исследовательского интереса и оценки. «Он смотрит на меня так, как смотрят в микроскоп на бабочку или гусеницу, наколотую на булавку»,— мелькнуло в голове Тимошина.

Неожиданно какой-то мускул дрогнул в лице мужчины, кривая усмешка исказила его лицо, и он заговорил, расставляя каждое слово отдельно и отчетливо, словно бы всем своим тоном подчеркивая: «Ах, ты, младенец, ты же сейчас лопнешь от любопытства, тебе интересненько стало, как, отчего да почему, ну что ж... вот и получи... на вот тебе...»

— Как убил?.. А просто... Застал ее с хахалем. Его заставил одеться и выгнал, а ее... ее связал... А похотливое место ей расплавленным сургучом залил...

У Тимошина перехватило дыхание и глаза расширились от ужаса, он глупо спросил:

— И она умерла?

— Умерла... к вечеру.

— Но ведь... это... это — садизм, жестокость невероятная,— позабыв о страхе и будто ища подтверждения у собеседника, бессвязно выдавливал из себя слова Тимошин,— разве это... обязательно было, разве нельзя было просто уйти или разойтись, раз она так?..

— А то, что она надо всем надругалась, не надо мной, а надо всем, это простить можно?

— Но... но... все равно,— заикался Тимошин,— это ведь смерть страшная, мучительная.

— За это я и отсидел пятнадцать лет от звонка до звонка,— болезненная улыбка скользнула и затаилась в краях бледных губ говорящего.— И на суде никто о снисхождении не просил, даже адвокат. Только руками разводил, напоминал о состоянии аффекта, жизнь только просил сохранить да сокрушался, что так, мол, бывает. Ну да мне ничье снисхождение и не нужно было. И понятно, что не за убийство много дали, а за жестокость.

— Зашумел там народ, Николай,—

кивнув на дверь, неожиданно подал голос низенький, стоявший до этого не проронив ни слова и даже будто внимания не обращавший на все происходящее.

Тимошин даже забыл об этом обладателе обманчиво-ласкового голоса, настолько тот стушевался и сделался неприметным во время разговора.

— Глянь-ка пойди, может, и дают, пора уже,— бросил Николай равнодушно.

Низенький проворно скользнул между ними и скрылся в зале.

— Он тоже оттуда? — спросил Тимошин, глядя вслед.

— Тоже,— подтвердил Николай и бесстрастно добавил,— да-а-а-а, это... так, домушник.

Он сказал и словно бы подчеркнул, что вот он преступник настоящий, серьезный, а тот, другой, вроде бы и мелкая сошка вовсе, подумаешь, вор.

Было странно, что у Тимошина исчезло чувство страха, охватившее его вначале. Он будто взял какой-то невидимый барьер и теперь почему-то мог говорить спокойно, не предчувствуя, что сердце вот-вот сожмется и уже никогда не разожмется от ужаса. Показалось, что все, о чем только что шла речь, происходило в таком давнем прошлом и так далеко, что и думать не стоило ни обо всем происшедшем, ни о несчастной женщине, ни о тех людях, которые со всем этим столкнулись.

— И что же теперь? — негромко спросил Тимошин, как будто стоял перед руинами огромного города, к восстановлению которого было непонятно с какой стороны и подступать.

Николай, он стоял закончив все разговоры и прикрыв глаза, поднял тяжелые каменные веки и произнес:

— Теперь к матери еду, повидать ее. С месяц у нее побуду.

— А потом?..

— А что потом, работать потом. Жить. Если встречу женщину, женюсь.

— А если... — заикнулся было Тимошин.

— Конечно, хочется встретить женщину хорошую,— перебил его Николай, даже не меняя интонации и как бы самого себя убеждая.— Ко мне вся ее прошлая жизнь касательства не имеет. Пусть она будет б... из б.., но со мной если сойдется, жить будет нормально. Никогда попрека не будет, но только уж жить по совести.

Слова его падали редко, тяжело. В это время в коридорчике будто бы тишина наступила, и весь вокзальный шум и гам как-то глухо и издалека доносился. Он замолчал.

— А если она опять с другим?..— в этом молчании вопрос Тимошина прозвучал хрипло, с какой-то бившейся внутри него тайной надеждой на мягкость и понимание другого человека, он, вообще, сначала хотел сказать: «А если она опять изменит?», но не смог и сказал: «С другим».

— Тогда я все так же сделаю, я ее снова...— начал и не договорил Николай с оттенком твердой решимости. Голос его был окрашен безысходностью, а глаза потемнели.

От слов этих заново повеяло жутким холодом, у Тимошина вновь пробежали мурашки вдоль позвоночника. Все, что на минуты показалось канувшим во времена глубокого средневековья и инквизиции, снова проступило отчетливо и страшно.

— Дело на мази, Колюня,— раздался голос низенького крепыша, он поднял в согнутой руке билеты,— вот они, красавчики.

— Тоже надо взять,— обрадованным голосом начал Тимошин, испытывая облегчение от возможности прервать этот нескончаемый, тянущийся разговор, чем-то похожий на опасный переход над бездонной пропастью.

Он тут же вошел в вокзал, а вздохнул так, будто вышел из каземата, где пробыл не один год. Вокруг шумели люди, обремененные сиюминутными потребностями, необходимостями, заботами, словно в жизни не было да и не могло происходить ничего более важного и нужного, чем эта вот муравьиная суета. Мысль скользнула в голове Тимошина, как-то затеняя и заслоняя другую, безусловно более глубокую, как бездонный колодец с его ледяной стынью в темном бесконечном провале. И Тимошин в одну секунду с облегчением отрешился от этой томительной глубины и окунулся в общий водоворот пассажирского столпотворения.

Минут через десять он отошел от окошечка кассы, засовывая в нагрудный кармашек пиджака картонный железно-

дорожный билетик. Стало нечего делать, и захотелось выйти на улицу из человеческой толчеи. И тут же мгновенно и пронзительно резко вспомнились и Николай с его мучнистым лицом и отрешенным взглядом, и его спутник, маячивший неясной расплывчатой тенью где-то рядом в этом узком проходе, через который предстояло идти. Тимошин в нерешительности замер от такой игры воображения и только после секундного замешательства, сам в себе возбуждая решимость, двинулся вперед.

В маленьком коридорчике никого не было. У Тимошина даже мышцы расслабились, непроизвольно напрягшиеся, как перед чем-то опасным и неотвратимым.

На перроне он глубоко вдохнул холодящий легкие воздух наступившей ночи. Фонари, высокие и редкие, в темноте горели гораздо ярче. Изредка вспыхивал искрой повернувшийся зеркальной гранью кристалл мраморной крошки. Погрузился в темень и поселок, обозначив себя причудливо перевитыми цепочками разноцветных электрических огней.

Людей на перроне почти не было. Видимо, подбирающийся холод загонял всех в тепло. Тимошин снова вдохнул воздух всей грудью и двинулся бесцельной походкой прогуливающегося человека. И тут он затормозил свой шаг, увидев идущую навстречу цыганку с двумя детьми. Поспевая за матерью, вприпрыжку семенила девочка, та самая, что так радовалась своей удачной сделке три часа назад. Она и сейчас узнала Тимошина и метнула в него игривый заговорщицкий взгляд.

«Ах ты, бесенок»,— растроганно подумал он и вслух с наигранной угрозой сказал:

— Ага-а, вот ты где, попалась, обманщица.

Глазенки девочки радостно сверкнули, совершенно не выражая испуга, но мать вдруг остановилась и, словно обидевшись, бросила:

— Почему это?

— Так вот... сплясать обещала и сбежала,— смешавшись и запинаясь, оправдывался Тимошин.

В неверном свете фонаря глаза цыганки казались особенно большими, глубокими и черными, лицо ее, обрамленное волосами, не выразило ни удивления, ни досады. Она тут же выпустила руку дочери и легким шлепком подтолкнула ее к Тимошину, сказав при этом с каменными интонациями в голосе:

— Обещала — делай.

Совершенно уверенная в невозможности неисполнения своего приказа, она, не оглядываясь, двинулась дальше со вторым ребенком на руках.

Девочка, на секунду замерев, вдруг плавно описала небольшой кружок, перебирая ножками, изгибаясь всей своей маленькой фигуркой и помахивая откуда-то возникшим в ручке грязным платочком. Затем она остановилась прямо перед Тимошиным, топнула ножкой, сделала незамысловатый перепляс, снова на мгновение замерла и в следующий момент стреканула вслед за матерью.

Все это она проделала быстро, деловито и серьезно и лишь в последнюю секунду не выдержала и весело улыбнулась.

Тимошин испытал в те минуты какую-то неловкость за то, что затеял, и был вынужден стоять теперь, как барин. И еще ему показалось, что в движениях девочки, во взгляде, во всем коротеньком танце сквозило нечто такое, что будто бы говорило: «Конечно, мы все понимаем, что это глупости, но раз дяденька считает, что ему должны, то, пожалуйста, мы рассчитаемся, нам не трудно». Все выглядело бы непринужденно и весело, произойди это в прошлую встречу, а не сейчас, когда его неуклюжая попытка пошутить была так истолкована. Все было нескладно.

Тимошин начал терять ощущение времени в этой темноте, где, казалось, неслышно перекликались далекие фонари. Очередной раз он дошагал до края перрона, ограниченного поперечным бордюром, когда слабый отблеск или даже свет пронизал темень. А в следующее мгновенье, мазнув лучом по далеким предметам, поезд вывернул из-за поворота и с каждой секундой все ослепительнее сиял прожектором. Не было слышно ни гудков, ни криков диспетчера, ни перестука колес, и беззвучно надвигающаяся раскаленная точка с угадывающейся за нею тяжелой массой казалась глазом чудовища.

Электровоз, сдавливая перед собой темноту, прокатился мимо. Тимошин оглянулся ослепшими на время глазами и

увидел, что прожектор осветил всех высыпавших на перрон.

Вагон оказался полупустым и новым, в нем пахло клеем, краской, линолеумом, ко всему этому примешивался дух, исходящий от спящих попутчиков.

Тимошин снял с верхней полки матрас, раскатил его по рундуку, не раздеваясь и не беря у проводницы простыней, тут же улегся лицом к стене. Он долго лежал без сна. Все происходившее в последние часы вновь нахлынуло на него. Было нечто непостижимое и неизбежное в том, что и смешливая девочка с матерью, и Николай с его жутким представлением о справедливости, и он сам, Тимошин,— все ехали в одном поезде. Когда эта мысль полностью дошла до сознания Тимошина, он успокоился. Он почувствовал, что напряженность, наполнявшая его, начала таять, и с облегчением погрузился в сон...

Поезд пугливо дрогнул и тронулся.

Петр Петрович Панецкий (Шелехов) родился в 1942 г. на руднике Усть-Луговка Иркутской области.

Окончил Иркутский государственный университет. Публиковался в «Сибири», в сборниках «Байкальский меридиан», «Грибное воскресенье».

Виталий РУДЫХ

ПЕТРОВНА-НАСТЫРНИЦА

РАССКАЗ

Федор Иванович Попов, бывший шлифовщик станкостроительного завода, в семьдесят лет ушел на заслуженный отдых.

Получал он пенсию, положенные ему шестьдесят рублей, но дома сидеть не хотелось, да и предложил ему потрудиться начальник цеха — специалист он классный, немного таких во всем заводе отыщется.

После войны, как только вернулся Федор Иванович в свой город, решил слепить избенку-засыпнушку. Барак, в котором жила Петровна, жена его, как-то горел, и после ремонта жить в нем стало противно. Из-под пола несло гнилистой грибковатой затхлостью; в окнах, сколько бы их ни конопатили, ветер свистулькой наяривал припевки, забирал и уносил тепло.

Избенку Федор Иванович собрал из горбыля и обзола — отходов, которые выписал за наличные деньги на заводской пилораме. Там же раздобыл и опилок для засыпки стен.

Прожили Федор Иванович с Петровной в этой избенке немалые годы, двух сыновей на ноги поставили, теперь вот сами постарели, как два дерева, высохли, загрубели лицом, от работы на руках мозоли превратились в толстые кожные пятаки. Петровна тоже всю жизнь монтулила в горячем цехе, на литье. Она хоть и баба, а была похлеще, удалее иного мужика.

Как-то Петровна, не думая выкорить мужа, а спроста, сказала:

— Робил, робил, а, видно, в этой развалюхе и ноги протянем. Другие, глядишь, только на завод устроились и квартиры пополучали. Вон, в нашем третьем цехе-то, этот, Семен, начальник отделения, и года еще не проработал, а уже квартиру отхватил. Слышала я, будто он

родня заму директора-то? Сходил бы к директору напрямки, раз за тебя некому слово замолвить.

— Трепло ты, Мария, помело обжаренное,— Федор Иванович дымит сигаретой, обдумывает что-то: надо втолковать бабе, что теперь директор-то новый, молодой, ему дел до пенсионеров не так уж много, у него план горит, забот выше головы. Если был бы старый директор, который раньше работал начальником цеха, где трудился и Федор Иванович, тот, может быть, и дал бы жилье из своего фонда, а этот... Он дает квартиры тем, кто теперь работает, да и то в основном начальству.

Федор Иванович представил, закрыв глаза, будто зашел он в приемную, а молодой директор — навстречу ему, интересуется, мол, зачем пожаловал почетный рабочий, ветеран войны и труда: «А-а-а, товарищ Попов!» Но это Петровна из-за спины его тарахтит и канючит:

— Пионеры приходят, на сбор зовут, наста-а-авник... Попов да Попов... И начальство тебя помнит, коль руки твои им понадобились...— Петровна елейным тенорком напевает.— Не хочешь ты как люди пожить, не хочешь! Тебе-то что — пришел с работы и — на боковую, а то так — за свои погремушки.

Федор Иванович тряхнул рукой, будто отмахнулся от щекотливой мухи, ответил:

— И что тебе тут не живется? Избенки на наш век хватит. И тишина, покой в этом краю...

— Покой! — вскинула Петровна на мужа глаза, опалила его спокойное лицо.— Хулиганья развелось, вечером хоть никуда не выходи...— Она не на шутку взъерепенилась, понесла околесицу, говорила разные придумки, потом поняла всю беспомощность своего гонора, притихла, увидав, что старик ее беспечен ко всему, вроде бы сидит тихо, поковыривает острой стамеской деревяшку, вырезает чего-то.

Что ни попросит Петровна сделать Федора Ивановича, все поперек получается, то он мимо ушей пропустит ее главную просьбу (а у нее все просьбы главные), то она вместо просьбы наговорит ему всякой глупости. Порой бы промолчать ей, не лезть под ошпаренные нервы мужа, но такая уж у нее натура — обязательно надо сучить слова попусту. Ведь за долгую жизнь должна бы изучить мужа? Известно Петровне, что Федор Иванович не пойдет напролом просить квартиру, ведь живут они в своей избе, а нет, все-таки досаждает старику, зная, что он больше всего любит отмалчиваться или уйдет от ее угарной глотки в сенцы, закурит там.

Петровна садится на стул и начинает потирать руками ноги свои.

— Ревматизма проклятая,— она поглядывает искоса на мужа,— а в этой трухлявой избе совсем от сырости ноги скрючит. Место тут паршивое, солонец один, мокрота. Тебя-то и чих не берет, вот и не думаешь о теплом углу. В кирпичных домах или в панельных этих и «до ветра» ходить не надо по морозу, вода горячая и все такое...

— «До ветра», — усмехнулся Федор Иванович, — беречь нам с тобой уже нечего, все выдуло...

— Леший ты старый! Эх-ха-ха, прожила я с тобой жизнь, намучилась только...

Федор Иванович взглянул на Петровну, отложил в сторонку деревяшку, сказал:

— Помру я разом, старуха, вот увидишь, сердце чует. Как чуть что, вы, бабы, нашего брата, мужиков, на все лады клянете. А помри я сейчас, жалеть будешь ведь?! Вышла бы замуж не за меня, а вон за соседа Кузьмича, та же песня была бы у тебя. А он еще любит порядком за воротник заложить. Все у вас хворь, а живете по цельному веку, и болезни к вам пристают, как к паршивой овце блохи, а ведь живете, дольше мужиков живете.

— А ты уж и позавидовал? У тебя все отговорки,— Петровна теребит и скребит душу Федору Ивановичу,— водку не надо жрать да табак смолить, тогда и жить будете, как добрые люди.

— Это вы добрые люди, что ли?

— Ладно, ладно, Федя. Постоял бы порой в магазине, загнуло бы тебе спину-то.

— Э-э-эх, будто у тебя семеро по лавкам, Мария, — перебил ее Федор Иванович,— с мужиком вам завсегда тошно, то не сделал, другое, пьяница, денег мало приносит, а без мужика тоже не сладко, поди?

— Проживе-е-ем...

Федор Иванович садится к столу, у окна, на заветное место, на табуретку,

слова ищет подходящие, ответить надо жене, затормозить ее осклизлый язык. Ему жены квохтанья порой кажутся как приправа к хорошему борщу — слушает, а мысли его далеко где-то... Вчера спина ныла, как раз в крестце, и шагать бывает трудно, особенно по утрам, похоже что кто-то прицепил к пояснице чугунную болванку. Молчит Федор Иванович об этой болезни. Скажи старухе про нее — греха не оберешься. Петровна начнет брюзжать. Вот, мол, меня так такой-сякой обзываешь, а сам-то, тряхни и — куча дерьма... А было, не один раз упрекал жену Федор Иванович, что она розвалень. Теперь вот и свои недуги надо маскировать, хоть и держится он боевито, осанисто. Только хитрость Федора Ивановича Петровна давно разгадала. Она видит, что муж как хромой иногда ходит. Соврет, бывало, Федор Иванович чего, она же поддакнет, а через день-другой выскажет при удобном случае или в знак доказательства факт налицо или этот самый факт на стол выставит. Она както нашла в ботве картошки припрятанную поллитровку.

— На старости лет совсем мужик из ума выжил! — ругает Петровна тогда старика, но ругает не зло, будто не порет по швам старую рубаху, а режет ее на кусочки. — Все не напьешься! Или я у тебя изо рта вырву эту горесть проклятую?

— Сосед вчера заходил, вон Кузьмич, ну и... пьяной был... я и сунул туды... завтра, говорю, зайди, опохмелишься. Может зайдет, отдай мужику, помирает, небось?..

— А какого черта прятать, поставил бы в шкапчик.

— Хотел как лучше.

— Я эту бутылку отдам его Татьяне, погляжу, как твой Кузьмич будет причмокивать губами... Пущай Татьяна ему бока бутылкой натрет, примочку сделает, небось меньше будет по заугольям шляться, ханыга!

— Понесла-а-а, — кашлянул Федор Иванович, — он что, пропойца какой? Ну выпил, а чего теперь из него пьяницу-то делать? У вас, у баб, все на одну колодку. Другой мужик в году раз выпьет, его и увидели — пьянчуга, а кто и пьет каждый день да как крот прячется — его не видать, трезвенник.

— Спились мужики, и говорить нечего, — заключила Петровна, зная, что оспаривать ее Федор Иванович не будет, он промолчит или скажет: больше положенной нормы человек все равно не выпьет. Душа бы приняла, кишки выкинут, дело такое... — Он поглядывает на кота Ваську, тоже состарившегося, глуховатого, и теперь Васька сидит на подоконнике, вялит на солнце свои кости и сушит темно-атласную шубу, тоже редкую, как у Федора Ивановича остатний клочок на продолговатой лошадиной голове.

«А может, и верно, сходить к директору, уважить старуху», — думает Федор Иванович, но вдруг отбрасывает эти мысли. Он как вспомнит, что в панельных домах через стенку слыхать соседей, как они громко живут, да молодежь крутит магнитофоны, хоть заплавляй уши воском, так сразу же берет Федора Ивановича оторопь. И поковыряться с деревом негде будет... а тут, в районе Ангары, спокой, разве что собаки кругом, но и теперь в квартирах тоже развели их.

Невдалеке от избы Федора Ивановича в облака вросли многоэтажные дома. В начале улицы строители вколачивают, как гвозди, сваи в солонцеватую жидкую землю.

Иногда Петровна ворчит, выплескивая помои в сторону свайного агрегата:

— Скорей бы уж подвигались да снесли нашу избенку... Все равно огородишко стоит в воде постоянно, а шлаку да торфу давно не сыпали.

Слышит Федор Иванович эти словечки старухи своей и подумывает: и вправду доберутся строители и снесут хибарку, как бритвой на щеке бородавку. Подъедет бульдозер и — подчистую... А ему никак не хочется расставаться не так с избой, как с верстаком. Разве в казенную квартиру потащишь инструмент? Конечно же, не потащишь.

Петровна вскипятила самовар и наладила на стол, позвала Федора Ивановича, налила ему в кружку чай.

За столом Федор Иванович не привык разговаривать, это не гульба, а еда. Он помалкивает, попивая душистый настой.

Немного помолчав, Петровна после нескольких глотков чая выбросила раскаленные словечки, словно охлаждая нутро выдохом:

— Я, старый, в райсовете была, ска-

зали там, что скоро все наши засыпнухи бульдозером соскребут в одну кучу.

Федор Иванович даже вздрогнул. Чуть повисшие щеки его вытянулись, челюсть быстро задвигалась, а левая бровь перекосилась.

— Какого черта туда носилась-то? — хватил горячего чаю Федор Иванович и вытер потную голову рукавом рубахи. — Настырница и есть, настырница.

— Надо, стало быть, и ходила. Ты-то боишься нос из избы высунуть. А квартиру я сама выхлопочу, вот увидишь... Сыновьям отпишу, пущай тебе стыдно станет. Ведь пять лет тому назад давали квартиру, и какую квартиру! Все ты, все тебе других жаль, а сам сиди теперь и чешись как хряк во хлеву.

— Дурья башка! — не вытерпел Федор Иванович. — Детей-то не путай в это темное дело, раз сама свихнулась...

— Какое же это темное дело, старик?! — спокойно сказала Петровна. — Законное просим. И ты на войне был, награды-то я твои в райсовете показывала кому следует.

Федора Ивановича будто тряхнуло, он поставил кружку на стол и взревел:

— Ну, ни дать ни взять, дура! Я, что ль, один воевал? Один раненья имею? Какой позор!

— А чего такого-то? — попивая чай, говорит Петровна. — Вон, на той улице, сам знаешь ведь, как Алексеевский променял свою избу на казенную, а тут потом продал вскорости, денежки за пазуху, а через полгода получил в Ангарске новую. Вот тебе и на. Умеют жить люди, не то что мы с тобой. Прожили жизнь, и на книжке всего-то три сотни.

— Замолчи ты! — крикнул снова Федор Иванович. — Я век прожил, считай, а на закате дней своих не хочу, чтоб в меня плевали, как в отхожее место! И чему ты только завидуешь?

Петровна подергала носом, вовсе осмелела и напустилась на Федора Ивановича:

— Ты прикуси язык, я сама знаю, что мне делать. А в райсовете я не впервой, давно туда хожу, только бумага, что сочиняли мы с соседкой, до четвертого этажа шла четыре месяца.

— Кузьмич зашел ко мне, а ты его пьяницей обозвала. А твоя подружка тоже, выходит, добрая сводня? — Федор Иванович вышел из-за стола. Ему еда не шла, потому как старуха поглядела на него как-то странно, сощурив глаза.

— Вот похоронишь меня, замуж еще выскочишь. Десять годов не такая уж малая разница между нами. — Он сказал это, и ему вдруг стало на душе нехорошо, и лихота в желудке принялась изнывать закваской. Он никогда раньше не говорил о смерти, не имел привычки жаловаться на жизнь. Да и с Петровной сошлись без свадьбы и жили. Сказать — хорошо, нельзя. Плохо — тоже вроде бы не было. Одно терзало Федора Ивановича — это дожить бы тут свои годы, а может, и месяцы, дни... Петровна уже почти десять лет как на пенсии. «Устала, — говорит она, — и имею полное право на отдых». Теперь какая ревность к ней у Федора Ивановича, так, слова одни шутейные... Она уже не курица-несушка, а хохлатка ощипанная. Он не верил и не верит, кто говорит, что, мол, муж и жена прожили жизнь и лихого слова не говорили, значит, жили они, скрывая свою наивность или просто льстили сами себе... близирничали.

...Петровна рассмеялась на сказанные мужем слова о замужестве, вздохнула, как будто потеряла чего-то, сказала:

— Горюшко ты, Федя, мое! И как у тебя язык-то повернулся такое ляпнуть?

Федор Иванович лег на диван, удобно подложив под голову подушку, попросил:

— Включи-ка, старушенция, телевизор, вставать неохота, — смягчает недавний разговор он, дав понять ей, что зла на нее не держит.

Петровна неуверенно берет в руку штепсельную вилку, обмотнув ее фартуком, будто горячую головешку и, отвернувшись, вставляет в розетку, закрыв глаза. Совсем недавно Петровну шлепнуло током, когда она включала электрический самовар мокрой рукой, и вот теперь боится угла, где стоит эта хитрая машина.

Федор Иванович в молодые годы работал в ЧК, в войну был разведчиком и теперь любит смотреть телефильмы про это.

Телевизор хохотнул, рыкнул, и замелькали человеческие фигурки, замельтешили в стеклах очков у Федора Ивановича.

Петровна ушла на кухню и оттуда, перекрикивая телевизор, заорала:

— Старик, убавь ты его, холеру, уши заложило, спасу нет!

Федору Ивановичу хочется полежать, понежить старые кости, не спать, конечно. Вся ночь впереди, хоть ее, ночи-то, лучше бы и не было. Бессонница уж который год затаилась в его кровати. Хорошо, что хоть отводит душу он любимым занятием — резьбой по дереву. А когда человеку годы идут внакладку, невольно и думы разные седину скручивают на голове, и разные мысли дегтем омрачены, и только остается утешать себя, что жизнь была, а какая жизнь — не хочется и вспоминать о ней... Был молод, хотелось быть старше, а когда заметил на своих висках в зеркале седину, подумал, что годы не отлетают, как высохшие сучья от дерева, а растут, как крапива, как бурьян на задворке. И если каждый день взять да со всех сторон оглядеть, задуматься, что сделал, то будто бы ничего особенного, разве что деталей нашлифовал тонны... Может, поэтому от стальной пыли и кашель иногда душит, как от мореного табаку, и жжет горло, как красным перцем...

В телевизоре диктор, молодой и прилизанный человек, объявил об окончании кино, и Федор Иванович выдернул вилку из розетки. Он надел на босую ногу сапоги и вышел из избы.

Осенний день уходил за город, забирая с собой весь цветной узор, а оставил лишь душный запах и густой, вонючий дым.

Федор Иванович прошел к бане, которая служит ему и врачом, и лекарствами, и душевным успокоением.

Из конуры выпрыгнула Пальма. Она метнулась к хозяину, повисла на ошейнике, который держала цепь.

— Ну, ну, чего ты? — и отвязал ее. Собака в знак благодарности, что она на свободе, облизала хозяину руки. — Давай-ка, Пальма, баньку истопим.

В ограде показалась Петровна. Она как бы искала чего-то по хозяйству, а вид ее говорил о чем-то совсем другом...

Федор Иванович набрал охапку дров, но Петровна остановила его:

— Погоди ты с баней-то, воды вон лучше привези, в избе ни капельки нету.

— Кости ноют, к непогоде, что ли, — сказал Федор Иванович, — баню просят. Истоплю-ка я ее, старуха. — Он говорил про баню, однако прикинул, что воды и в бане тоже нет, надо везти, взвалил на тележку два больших молочных четырехведерных бидона и поехал к колонке за водой на другую улицу.

Только Федор Иванович скрылся за домами, Пальма затявкала и подбежала к подворотне, усиливая лай, просунув морду.

— Сыть ты! — загнала Петровна собаку в конуру и впустила в ограду людей. Те поздоровались. Первым прошел участковый инспектор, старшина, которого Петровна не только недолюбливала, но и видеть не могла. Раньше старшина гонял ее от магазина, когда она приносила продавать из своего огорода излишки овощей.

Вторым в ограду вкатился пожарник, майор. Он именно будто вкатился — весь круглый, жирный, заглаженный, с усиками.

Последней вошла женщина с солидным коричневым портфелем. Она походила на высохшую березу, худая, с серым лицом, и только ее узкие глаза бегали бойко. Она была подпоясана широким ремнем, и талия была, как у манекена.

— Вот, как я вам и обещала на сегодня, — мужским голосом сказала женщина, — с комиссией к вам. Прошу, показывайте усадьбу. Уже вечер, а мне еще надо два дома обследовать.

— Пожалуйста, — радостно предложила Петровна пройти в избу, — смотрите. И начался осмотр.

Старшина гаркнул на Пальму, которая из конуры истерически лаяла на чужих. Он сел на чурку, закурил. Его дело блюсти порядок. Пожарник же заносил на бумагу что-то и качал головой:

— Разве можно жить в такой избенке? Это же как на бочке с порохом сидеть. Не доски, а сухие дранощепины, вспыхнут — не погасишь. — Он возмущался и постоянно дергал двумя пальцами за левый ус, который был короче правого, по-видимому, от частых прикосновений и дерганий. — Не-е-ет, надо проводку обрезать, — и он умело откусил от счетчика провода, только брызнули из-под пассатиж искры. Концы проводов он замотнул изолентой и, довольный проделанной работой, пошел к бане.

— Мамаша, — позвал он Петровну, —

баньку-то как я раньше не замечал? Ведь сколько раз проверял в этих местах противопожарность. Как же это я? — Он попросил у Петровны два гвоздя, забил их в дверные колоды и повесил чуть ли не килограммовую пломбу. Тут ему и вовсе стало на душе тепло, как в этой же баньке, и он улыбнулся, но вскоре сделал строгий вид и подергал за ус, подтверждая этим свою неприкасаемую начальственность.

Женщина много смотрела по сторонам, мало писала в свою книжицу, только поправляла портфель, который так и норовил нырнуть на землю, как заарканенный индюк.

— В конце месяца, гражданка Попова, зайдите в исполком. На этом месте будут дома строить, так что готовьтесь. — Она попрощалась с Петровной, первой вышла из ограды. За ней — старшина и пожарник.

— Что за люди? — толкая тележку в ограду, спросил Петровну Фёдор Иванович. — Из райсовета, что ли?

— Они, — промычала Петровна, — съезжать скоро будем, Федя...

— Как съезжать?

— На это место скоро бетонные плиты строители штабелевать будут. — Петровна сделала озлобленный вид, спасая себя от его угрюмого взгляда. — И пожарник опечатал баньку, свет обрезал, попаримся теперь вдоволь. — Она поперхнулась и поглядела себе под ноги. — Ругался сильно, штраф обещал, да я едва его уговорила. Хотела самогону поднести, но побоялась, да и этот старшина тут крутился.

— Угостила бы. Вечно ты скряжничаешь. Одного бы его оставила, мол, так и так, поговорить надо... А проводку-то давно ли меняли? Электрик четвертак за что с тебя сдернул? Черти, лишь бы прискрестись к чему-нибудь этим... — Он сел на завалинку и закурил. К нему подсела Петровна, делая невинное лицо и страдальческие глаза.

— Привык я тут, старуха, привык. Где мне теперь построгать, подолбить...

— Ты, Федя, про свои погремушки, что ли? — Петровна поднялась с завалинки, отряхнула прилипшую землю от юбки и, взмахнув широкими рукавами кофты, заговорила:

— Федя, к нам школьники приходили? Приходили, и не один раз. Вот они и заберут все твои поделки к себе... Они уж подмазывались, но я как же одна-то... ты уж сам бы с ними потолковал... — Она показывала всем своим видом, что все идет как надо и нет причин к беспокойству.

Федор Иванович сидел на завалинке, его лицо выравнялось по цвету с землей. Папироса плясала в его пальцах, сутулая спина его сделалась совсем согнутой, и Федор Иванович стал ростом вроде меньше. Он глядел на дрова, что лежали в поленнице,— в них запутались тополиные мертвые листья. Поблеклое небо домывала убегавшая за реку туча, и где-то ввыси погромыхивал реактивный самолет.

А как-то утром Петровна не добудилась мужа. Отвернувшись к стенке, он будто спал...

На похоронах старого рабочего народ был со всей улицы.

Вскорости Петровна переехала в новую однокомнатную квартиру со светлыми окнами.

Кладовку она забила от низа до потолка разными поделками покойного мужа. Здесь были и сказочные терема, ружья, замки, часы разных размеров и форм, солонки, кувшины, ножницы: все это Федор Иванович вырезал из обычного дерева. А разные сибирские сувениры: туески, чуманы, битки, ковшики, ложки он сделал с резьбой удивительного мастерства. С поразительной виртуозностью была изготовлена лодка-долбленка, где сидел человек величиной с наперсток и держал в руках весла. Петровна поставила лодку на телевизор. А когда включала его, то глаза ее цеплялись за этот сувенир, и вновь перед ней вставал образ мужа, он сам с его далеким и глухим, пропавшим голосом. А когда к Петровне заходили новые знакомые или соседи по площадке, она пускала слезу и показывала им разные поделки Федора Ивановича, говорила, что любил он природу сильно и собирал разные замысловатые коренья, обделывал их ножом, обтачивал пемзой, парил в воде, а после получались фигурки зверей и животных, которым сам дивился и называл их разными именами, кличками. Но, оставшись одна в скучной, светлой квартире, Петровна словно задыхалась от сдавливающей ее пустоты. В часы отчаяния и тоски Петровна ругала себя, что, приблизив полу-

чение квартиры, она ускорила смерть мужа. Приезжали сыновья, пожили несколько дней и уехали каждый сам по себе, приглашая мать жить с ними.

Петровна обещала приехать к ним, но только погостить и немного затушевать горе. Тут вся ее прожита жизнь, тут и доживать остаток дней своих. А потом приходили школьники. Они прибили на дверь красную звездочку, а сувениры и поделки по просьбе Петровны отнесли в школьный музей.

Виталий Георгиевич Рудых (Иркутск) родился в 1935 г. в дер. Келор. С малых лет работал в колхозе. После окончания школы плавал матросом на теплоходах и баржах, был грузчиком на пристанях. Служил в армии. Заочно учился в университете.

В настоящее время работает художником-оформителем, участвует в конференциях «Молодость. Творчество, Современность», публикуется в альманахе «Сибирь».

Владислав **ОГАРКОВ**



ОТСРОЧКА

РАССКАЗ

И вот что удивительно — я не успел ни вскрикнуть, ни заслонить лица руками — ничего из того, что должен бы сделать живой, мыслящий и чувствующий себя человек, ничего не успел. Только, кажется, глаза прикрыл веками. Почему человек закрывает глаза перед лицом смерти? Потому, наверное, что, даже будучи не из трусливых, но все-таки боится небытия и всей своей плотью протестует против него, используя даже такой способ протеста, как прикрытие глаз.

Уже в следующую секунду я широко раскрыл глаза, потому что ожидаемого не произошло. Напряженный слух не уловил ни страшного смертельного удара, ни железного скрежета, ни грохота лопнувших стекол. Не последовало даже легкого толчка. Странно. По-прежнему ровно урчит мотор, навстречу несется пронзительно-синее осеннее небо, под колесами тянется серое асфальтовое полотно, покрытое черными свежими заплатами. Только машина катится по левой стороне дороги. Выруливаю вправо и бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Из него на меня смотрят испуганные глаза дочерей и жены. Все трое проснулись, видимо, после резких маневров машины.

— Что случилось, папа? Почему мы так едем?

Но папа еще не вполне осознал случившееся и потому говорит первое, что подвернулось под руку:

— Да так... Пьяный навстречу ехал. Разминулись...

Все трое обернулись назад. Я тоже посмотрел поверх голов. Позади еще виден вздыбленный зад «Москвича», уткнувшегося носом в кювет. Все его дверцы распахнуты настежь, отчего он сейчас похож на беспомощного четырехкрылого жука. Возле лакированных ядовито-зеленых крыльев суетятся возбужденные фигурки людей. Машут руками, тычат в мою сторону — своего водителя, наверное,

поносят... Никто не пострадал? Нет, кажется, все бегают... По строгим заповедям ГАИ мне следует сейчас вернуться, осмотреть, оказать, заявить и все прочее. Но тогда пришлось бы затевать неприятный, со взаимными объяснениями разговор, вспоминать подробности и — неизбежно пережить все заново... Нет, это не для моих обшарпанных нервишек. Вперед, и только вперед. Без меня разберутся.

Но что все-таки случилось? И почему случилось именно так, не иначе? Первый вопрос полегче, с него и начну.

Начиналось событие вполне буднично. Ну, скажем, так: обычная среднестатистическая семья из четырех человек едет обычным, сотни раз езженым загородным маршрутом, то есть на дачу. Обыденность, как известно, навевает дремоту. И вот уж на заднем сиденье — сонное царство. Дремлют все пассажиры, включая кошку Муху, свернувшуюся серым пуховичком на коленях жены. Водитель бдит, стойко несет свой крест. Он между прочим замечает встречную машину, появившуюся на гребне подъема. Что ж, тоже привычное дело. Но тот, кто бдит, скоро замечает, что встречная несется как укушенная. Водитель настораживается и помаленьку нервничает, потому что в его понимании все укушенные являются носителями зла как в дорожно-транспортных, так и в прочих житейских делах.

Теперь чуть-чуть простейшей арифметики. Если предположить, что встречная развивает скорость 110—120, да и наш тихоходный «Захар» тоже не стоит на месте, сорок лошадиных сил как-никак в нем тоже имеется, то путем сложения двух скоростей, как старательно учили в школе (пригодилось все-таки), получаем так называемую скорость общую, а заодно получаем представление о том отрезке времени, в какой происходит все дальнейшее. А дальше обыденность ситуации резко падает и исчезает совсем, потому что встречный «Москвич» вдруг цепляет колесом за бровку шоссе, начинает вихлять узким задом, становится боком и вот уж пушечным снарядом несется наперерез нашему «Захару».

— А почему пьяный? Откуда ты знаешь? — это старшая, наш первенец. Измором возьмет, не слезет, пока не узнает. Что ж, сам посеял — сам собирай.

— **Я видел.**

— Что видел?

— Машина ехала неровно. И очень быстро.

На фотоаппарате, помнится, самая короткая выдержка — одна пятисоттысячная доля секунды, даже этого бывает достаточно, чтобы запечатлеть событие...

Мгновенно. как при вспышке молнии, перед глазами возник закрывший весь мир зеленый капот. Над капотом явилось некрасивое женское лицо — круглые, полные ужаса глаза и перекошенный в крике рот. И еще две белые ладони с растопыренными пальцами, выброшенные вперед в последний миг, словно эти две жалкие ладошки могли уберечь от смертельного, разрывающего железо и живую плоть удара.

Теперь у меня остался второй вопрос. Но, честное слово, не знаю, как к нему подступиться — все, что случилось потом, граничит с некой запредельной областью нашего человечьего сознания. Дело в том, что своим умишком, притулившимся на научных истинах, логике, пользе и множестве других гранитных глыб, я должен был бы понять и, увидев налетевшую на меня машину, крутануть руль вправо, чтобы уйти в спасительный, заросший травами и грязью кювет. И тогда — авария, лоб в лоб. Две груды искореженного железа... И пассажиры «Москвича», и мое милое семейство — все, кроме, может быть, кошки, все всмятку... К такому концу, увы, привели бы сознательные действия, поскольку на путешествие в кювет уже не оставалось запаса пространства и времени. Но в какой-то критический миг, когда мышление перестало управлять событиями и как бы самоуничтожилось перед страхом небытия, в этот крайний миг включилось, должно быть, подсознание. Оно-то и повернуло руль в моих беспамятных руках не вправо, но влево, то есть в еще более опасную, казалось бы, сторону, отчего машины чудом разминулись.

Вот такое корявое объяснение могу дать на второй вопрос. Подсознание — наш спаситель. Но самое интересное, пожалуй, в том, что никто, ни один человек на Земле не сможет с полной уверенностью ответить — что это такое? «Совокупность психических процессов и состояний, лежащих вне сферы сознания и не-

доступных для непосредственного субъективного опыта» — толкует нам толковый словарь. Что ж, солидней и научней, может быть, и не скажешь. А вот ясно ли? В общем-то понятно, но не совсем ясно. Процессы и состояния... Совокупность... Да нет же, какая, к дьяволу, совокупность, если можно проще: о н о — все то, что мы видим, чувствуем и творим неосознанно. О н о в нас есть, заложено с рождения, живет и бодрствует, но не поддается нашим умствованиям. Просто науке не солидно этаким беспомощным стилем выражаться, и она, опустив глаза, уводит нас в некую «совокупность».

Как зреют в одаренной душе стихи? Или музыка? Почему э т о рвется из неясных стихийных глубин, коим названия нет, и нет, кроме смерти, никакой другой силы, могущей запретить этим звукам родиться — ну что э т о такое? В словарь лучше не заглядывать: там все та же пыльная поленница слов. Нет и быть не может ответа кроме того, что каждый скажет себе сам.

А тут еще такая закавыка. Начав свою бурную деятельность с каменного топора и дойдя до лазерной установки сегодня (то ли еще будет завтра!), человек, сам себя похваливая и подбадривая, отчего-то так уверовал в свои безграничные возможности, в свою вседозволенность, так окружил себя всякими почестями и пестрыми афишами, что теперь уж, кажется, и вырваться из этого круга не может. Не имея крыльев, тем не менее взлетел. И возликовал — вот я каков! Но, увы, потерял при этом нечто большее — точку опоры. Такой опорой ему всегда была матушка Земля. Сказочной золотой рыбкой ему была и есть Природа. Но теперь он провозгласил себя мировым судьей и владыкой, а «золотую рыбку» кличет не иначе как покровительственно, пытается на посылках пользовать.

Нам бы, может быть, в себя попристальней взглянуть, осознать, что мы такое есть и зачем? Вместо этого мы с видом чрезвычайной значительности на лицах рассматриваем протоплазму, вакуолю и ядро. Не разобравшись в движении собственной жизни, стараемся придать некий смысл движениям клеточных организмов. Во всех мыслимых и немыслимых направлениях мы ищем внешние знания о внешнем мире, поскольку эти знания можно проще и безболезненней добыть. Зато наш собственный внутренний мир, эта величайшая тайна из тайн, остается загадкой.

— Пупик, ты чего там шепчешь? Поделись с ближними.

— Да так, пустое... Ничего интересного.

Со своей семейной кличкой я в общем-то согласен, трактовать ее можно по-разному, а еще, если разобраться, каждый из нас своего рода «пупик» или даже «пуп» на шершавой поверхности земли. И все связаны одной пуповиной. Все правильно. На чем остановились? Ах да, тайны и загадки, почти мистика,

Натужно, с тяжелым скрипом мы все же согласились, что есть где-то с сознанием рядом, сбоку или позади, есть еще некое подсознание — ладно, дескать, пусть будет, если так хочется ему быть. Но только с приставкой «под». Разве кто-то намекает, что возможно «надсознание»? Не позволим! Нет, не позволят... Ну что ж, пусть будет «под». Оно и с такой пришлепкой, не больно-то выпячиваясь вперед, стоя как бы на подхвате, творит свою трудную, непонятную работу, которую не одолеть нашему рассудочному мышлению. О какой работе идет речь? Задать такой прямолинейный вопрос может лишь самоуверенное дитя телевизора, чья судьба катится по желобу собственных представлений о реальном мире, среди реальных, доступных осязанию вещей. И потому попытки навести в вопросе полную научную ясность неизбежно будут похожи на зубодробительные уравнения, должные объяснить, отчего и каким образом сетчатка глаз излучает печаль или светится искрами радости? Но что-то все же надо отвечать, вопрос задан.

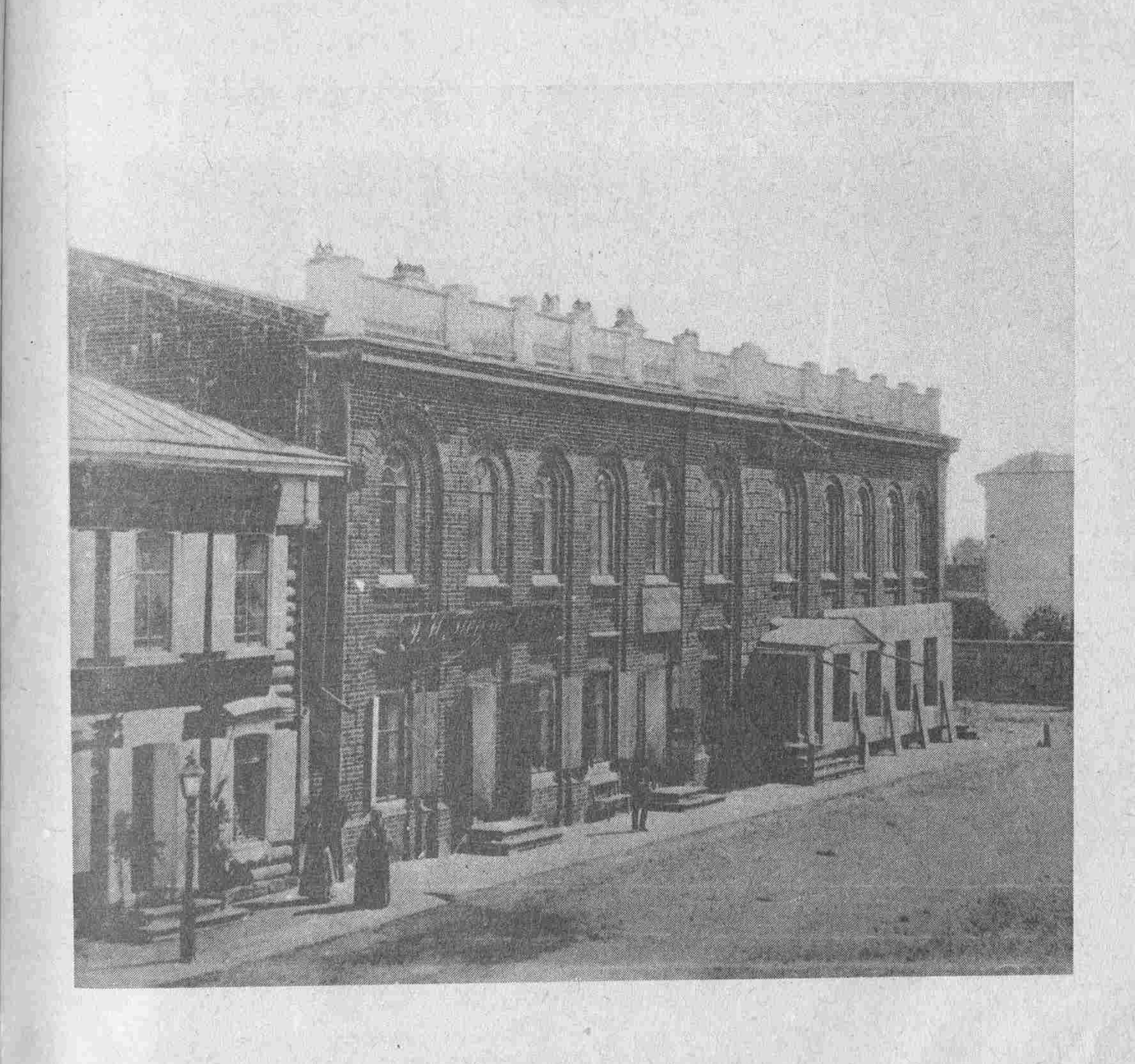
Как нерадивому студенту, ерзающему перед экзаменатором, мне на ум приходят примеры из жизни, имеющие касательство к теме,— авось вывезут! Ну вот, самое близкое, что быстро нашлось: внезапно падает чашка со стола, но столь же внезапно ты успеваешь поймать ее рукой или зажать коленями. Бывает? Я спрашивал разных людей, говорят — да. Но в том-то и штука, что этого никак не может быть, «потому что этого не может быть никогда»! Теоретически. Ведь нужно сделаться большой работе. Тут целый набор, как в квартальном плане: сначала

Личный штамп П. Милевского

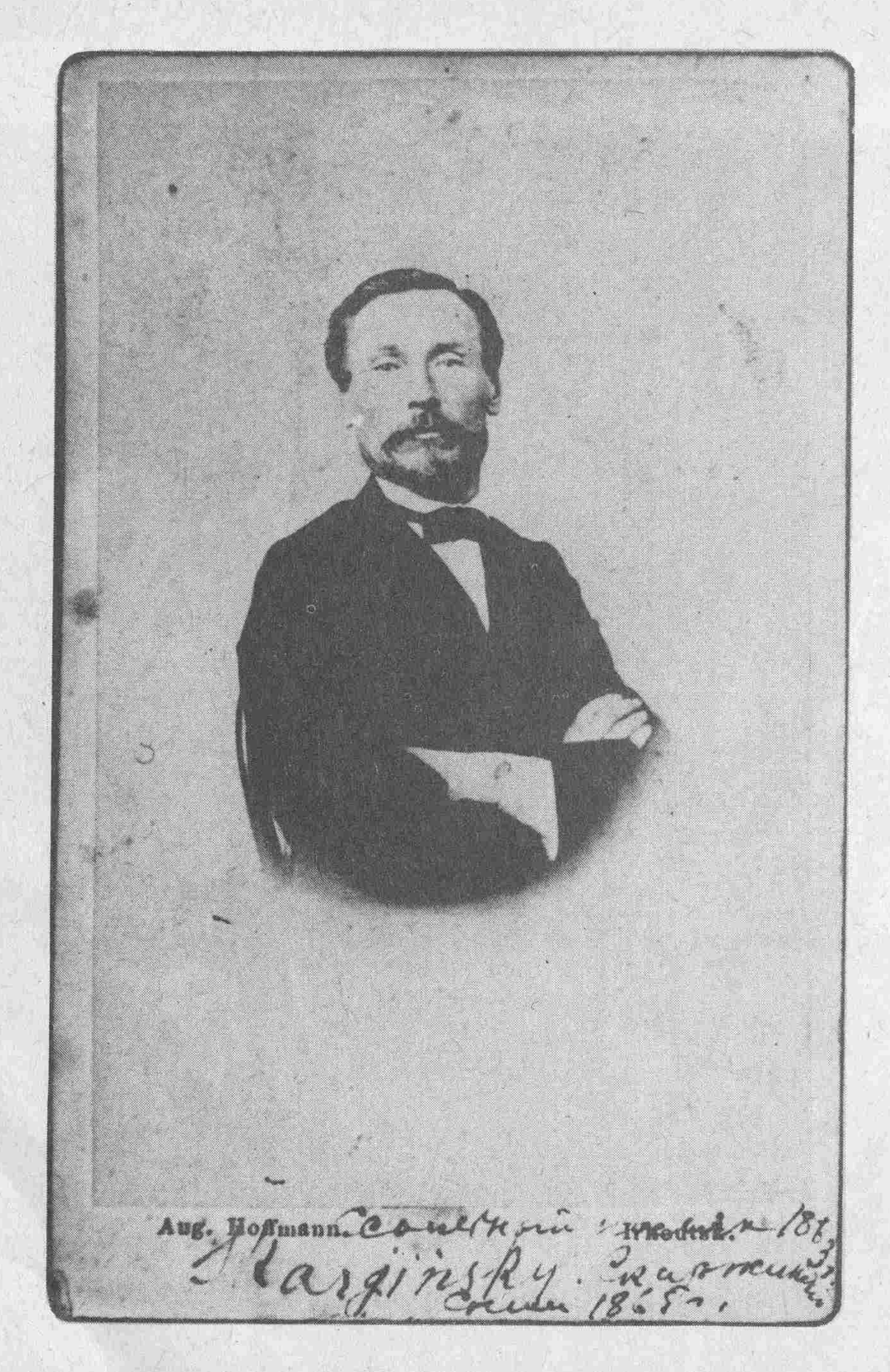




Первая велосипедистка Иркутска Мамонова, конец XIX в.



Иркутск, ул. Большая, 1890 г.



Ссыльный поляк Скаржинский, 1865 г.



Семья Недорезовых в г. Иркутске, начало XX в.



Генерал-губернатор Восточной Сибири граф А. П. Игнатьев, 1883—1887 гг.



Н. М. Ядринцев, вторая половина 1880-х гг.



Иркутск, часовня Спасителя на углу ул. Большой и Ивановской

глаза видят падающую чашку, затем аварийная информация поступает в генеральный штаб, то есть в мозг, там весть разносится по разным отделам и коридорам, ее регистрируют, подшивают, отдают главному для принятия решения. Но главный, как обычно, занят, у него другие дела. К тому же решение принять не так-то просто — нужно не ошибиться, все взвесить, подобрать толковых исполнителей и только потом уж спустить вниз руководящие указания, проконтролировать незамедлительное их выполнение. Вот сколько всего набралось. Знающие люди подсчитали вполне научно с помощью тестов и сверхточных приборов, что на эти все вместе взятые дела уходит что-то около секунды времени. Или чуть больше, или чуть меньше — это у кого как. Но при этом другие знающие люди подсчитали, что все тела, в том числе и фарфоровые чашки, при свободном падении пролетают за секунду почти десять метров. Вот и получается, что быстрота наших действий в этом случае в десятки раз превышает все дозволенные пределы. Здесь никуда не денешься, и придется признать, что наши неосознанные реакции способны на такую прыть, которую попросту невозможно учесть, проконтролировать, измерить. Пример этой прыти — недавнее бегство от «Москвича».

Вот сейчас, должно быть, мое подсознание трудится вовсю. Если не оно, то кто тогда управляет машиной? Пока сознание пытается философствовать во вселенском масштабе, оно, с приставкой «под», молча берет на себя всю черную работу: крутит баранку, переключает передачи, наддает газу на подъемах и отпускает педаль на спусках. Нас как бы двое — человек и биологический робот. Что там на спидометре? Пятьдесят. Маловато, но надежно. Километра четыре, кажется, проехали. Как миновали скальный карьер, пионерский лагерь, как проскочили мост через Мирюнду — не помню, будто ехал с повязкой на глазах.

Зато теперь глаза жадно всматриваются в пестрый, расцвеченный осенью мир, мелькающий за лобовым стеклом. Этот интереснейший из миров — осенний лес, полный жизни, грусти и живительной свежести, полный мудрой тишины и покоя. Он должен был остаться после меня, без меня. И пусть ему это совершенно безразлично, пусть не шелохнулась бы ни одна ветка, пусть не дрогнул бы ни один листок по этому печальному поводу — пусть. Мне он по-прежнему дорог, ибо он входит в перечень столь редких, нигде не продающихся сокровищ, как детство, юность, любовь женщины, память о друге. Он — часть моего бесценного багажа, и я его вечный носильщик.

Приблизился и промелькнул километровый столб. Жидкая осиновая рощица прошелестела слева. Черное пятно кострища на обочине: кто-то ждал попутную. Длинная черная рана на белом теле березы. Это мой брат, человек, походя полоснул ножом живое дерево. Сверху вниз. Зачем? А просто так. Для самовыражения, например. Захотел — и выразил. Рана зажила, зарубцевалась, но остался след — память о черном действе одного из нас.

Впрочем, вся эта дорога чем-то похожа на рану, лес рассечен ею надвое до самого горизонта. Словно полоса нашего отчуждения от природы. Ничто живое: ни тощая придорожная травинка, ни розовый дождевой червь, ни глупый птенец не смеют занять полосы. Иначе будут жестоко наказаны. Да и сам владыка полосы не смеет забывать осторожность, ступив или въехав на нее. Это легко подтвердят статисты: они каждый год насчитывают сотни тысяч несчастных, забывших заповедь.

Полоса изобильно поставляет чужеродный для леса, пропыленный мусор: окурки, бумажки, мятую фольгу, бутылочное стекло, кривые железяки, проволоку... «В мешке эпохи, в мусорном заляпанном мешке, пошитом наспех Временем, в заплатах термояда, раздвинув сор и пепел, мне всего лишь надо: своей щекой припасть к твоей щеке», — такие вспомнились строки. Но сколько мы таких правильных слов знаем, сколько сами придумываем? И живут они, все наши правильности, сами по себе, хотя и рядом с нами, но отчего-то не в нас.

— Давай остановимся, — говорю не оборачиваясь, чтоб не видеть в глазах супруги вопрос.

Жена мудро молчит. То есть и не возражает как будто очень, да еще дает возможность объясниться, оправдать свою странную прихоть. Но обставлять подпорками собственный каприз как-то не

с руки. И не стоит. В этом обществе мои фокусы достаточно хорошо изучили и тут же раскусят фальшь. Не позорьтесь, сэр, ведите себя достойно. Ну, в крайнем случае, можно что-нибудь про карбюратор — это пролезет.

— Карбюратор, кажется, перегрелся, воздушные пузырьки... Пусть постоит, остынет.

Могла бы сказать «сам перегрелся», но не говорит. Дипломатично пожимает плечами, соглашается.

Услышав дежурное предостережение «только недалеко, заблудитесь», дочки тотчас упорхнули в лес.

Дети рады остановке, потому что не вышли из тех солнечных годочков, когда все вокруг волнует и радует: и крохотный синий жучок, настырно ползущий вверх по дереву, как ни пытайся поправить его в обратную сторону; и сияние росы; и дрожащий на холодном ветру лист; и даже сучок — да-да, обычный сосновый сучок, на который нельзя наступить. Это потом, через десятки лет, ты будешь сапогами давить эти сучки без разбору и без разгляду где-то на вырубках, а сейчас никак нельзя, сейчас, пока все в тебе чисто и вырубки еще не виданы, непременно нужно поднять эту диковинную загогулину и бегом принести ее маме — пусть тоже подивится.

Мы остаемся вдвоем сидеть на прогретой солнцем сушине, тоже, как и все вокруг, тронутые осенью — он и она. Она и сегодня остается загадкой. И понятна, кажется, и близка, но так же непредсказуема, как может быть только женщина. Она и появилась в моей жизни как подарок судьбы: пришла вместе с моими друзьями, незванно, в день рождения, на старую заброшенную мельницу, что далеко в лесу. И что-то сжалось в сердце, когда в разгаре застольного веселья вдруг наткнулся на ее трезвый, отчего-то совсем невеселый взгляд. И так сложилось, что именно этот незнакомый человек, вызывавший сначала то улыбку, то недоумение, именно он неумело, но искренне выхаживал меня на следующий день, когда друзья и подруги были заняты собой.

Но куда-то разлетелись, разбежались светлые безоблачные денечки, славная пора поверхностного узнавания друг друга, и вдруг возникла полоса отчуждения, такая же долгая, как дорога, со своими поворотами, подъемами и спусками. Была мучительная борьба со своим «я», с другим «я», и были поиски друг друга в кромешной темноте, когда лишь стук того, другого, сердца подсказывал, куда идти. Но стук этот бывал очень слаб, иногда и вовсе пропадал, отчего в горле застывал крик отчаяния, и становилось вдруг страшно и душно быть в себе, в своей холодной высокой башне с узкими бойницами, хотелось вырваться и бежать, бежать! И ноги сами несли вскачь, наугад, лишь чутьем различая, где, в какой стороне затихло, но, может быть, еще живо сердце, роднее которого нет.

Может, все-таки рассказать ей, что произошло на дороге? Теперь, наверное, можно. Сам я уже успокоился и смогу, пожалуй, передать все в подходящих красках. Даже с юмором. Да, лучше с юмором. Или... Нет, все же не стоит. Разволнуется. Еще ехать несколько километров. Лучше потом, на даче. За ужином. Рассказать все равно придется, она уже знает, безошибочным чутьем уловила, по глазам вижу, что меж нами возникло облачко неясности. Наперед могу сказать, что будет: замкнется и станет сурово, осуждающе молчать, пока не откроюсь первым. Поэтому лучше сказать. А вообще-то лучше не говорить... Учебный год только начался, идут первые недели, и в школе царит неразбериха: на ходу идет перетасовка классов, преподавателей и учеников, школьное начальство давит каждый день — ни отвлечься, ни передохнуть, хотят «повесить» ей еще несколько часов нагрузки, и на этот раз, наверное, не отвертеться... Нервы у нее сейчас — лучше не дотрагивайся.

Неожиданно звонко затрещал кузнечик, где-то совсем рядом, и я невольно вздрогнул, дернул локтем.

— С твоим спокойствием только на Олимпе сидеть. Бросай мировые проблемы, учись лучше носки вязать. Кусок масла будет к пенсионному хлебу, ты же любишь масло. Хочешь, научу вязать?

— Нет, носки не хочу. Лучше веники. Знаешь, кто их вяжет?

— Знаю, шизофреники. Думаю, они бы тебя тоже не взяли в свою компанию, для них ты слишком прямолинеен.

Кузнечик выскочил из травы и приземлился прямо перед нами, на низкий,

под самые корни обрезанный пень, возникнув на черном растресканном срезе как блестящее живое украшение — этакая брошь цвета морской зелени. Он поводил кругом крупными радужно-зелеными глазами, оценил обстановку и быстро-быстро зачастил хитиновыми шпорами одна о другую.

— Видишь, как он радуется нашему выходу в лес, — говорю я.

— Солнцу он радуется, свету и теплу, — отвечает она и насмешливо щурит глаза за стеклами очков.

Не пускает, держит дистанцию.

Кстати, с очками связана одна давняя история, после которой я, может быть, впервые задумался о запредельных наших возможностях, будто дремлющих где-то за границами воображения, но возникающих в нужный миг.

История столь давняя, что уж и верится с трудом: неужели было когда-то время, много времени — целый месяц! — которое можно потратить просто так, в свое удовольствие. На бесцельное плавание, например, по почти безлюдной реке. С утра до вечера рыбачить, охотиться, глазеть по сторонам... Но, как ни странно, время такое действительно было, и мы, слава богу, тогда не знали и не хотели знать, как скоротечно и безжалостно оно побежит от нас в будущем.

Ну, в общем, плыли мы по той реке втроем. Кроме нас с молодой женой на плоту был старый мой приятель, неженатый в ту пору и потому не всегда нас жалевший. Но суть не в этом, поскольку в тот исторический момент, о котором хочется поведать, приятель сладко грезил в палатке. Молодая жена пристроилась с удочкой на корме и время от времени извещала мир радостными междометиями, означавшими, что еще один черноглазый елец стал жертвой женского коварства. Я стоял на передней греби и бдительно всматривался в таинственные дали, когда за спиной послышался тихий вскрик, каким не сопровождают добычу. Я живо крутнулся назад и тут увидел, что мой славный педагог стоит с видом провинившегося ученика, весь, от пяток до волос, беспомощно растерянный. И причина столь редкого перевоплощения была налицо, точнее — на лице, с которого исчез такой важный педагогический атрибут, как очки. Педагог смахнул их, наверное, в воду вместе с очередным комаром. Что делать? Пробираться на корму, перепрыгивая вещи и растяжки палатки, — долго. Снимать одежду — долго! А плот плывет и плывет. Ни кругов, ни даже мелкой ряби не видать на месте печального происшествия. На этом, к счастью, наблюдения и размышления закончились, потому что к пульту управления неслышно подошло подсознание и тут же, без митингов и совещаний, взялось за дело.

Результат этого дела не замедлил явиться: раздался всплеск падающего тела, после чего облаченное в рубаху и штаны оно звучно зашлепало по водной поверхности.

Вспомнились уроки подводного плавания, полученные в юности. Но вспомнились с примесью досады, потому что ученик прилежностью не отличался — экономить силы, задерживать дыхание так и не научился. Быстро устаю. Все, пора выныривать. И снова в глубину. Снова без толку. Ничего, похожего на очки... Жадно хватаю воздух и вижу одинокую фигуру на удаляющемся плоту. Скорбно опущенные плечи, остатки надежды, кажется, тают во взгляде, обращенном ко мне. До ближайшего поселка, где можно раздобыть хоть какую-то оптику, плыть дней десять, и каждый из этих дней будет нести мучения вместо радости.

Но ведь она верит в меня — знаю. Верит в находчивость, так часто нас выручавшую. Ведь мне кругом по-сумасшедшему везет. Помнится, однажды даже во сне нашелся в безвыходном положении: падает в пропасть дерево и с ним я, зачем-то на него забравшийся. Как быть? Спрятаться повыше, в крону, авось спружинит — нет, не годится. Или подпрыгнуть в момент падения, оттолкнуться от дерева? Нет, тоже ерунда. Все какие-то жалкие решения... И тогда нашлось до смешного простое: не может быть, сказал сам себе, никак не мог я здесь оказаться, на этом дурацком дереве, это всего лишь сон, и надо немедленно проснуться. И проснулся...

Разве есть в природе двигатель более безотказный и мощный, чем женская вера? Уверяю — нет и не будет никогда! Надо нырять. И снова плывет навстречу неясный подводный мир, поглотивший

драгоценную вещицу. Словно голодный ловец жемчуга, чья жизнь целиком зависит от блескучей горошины, жадно, до рези в глазах, всматриваюсь в тусклую толщу воды, раздвигаю скользкие волосья водорослей, исследую трещину в камне, но увы... Кончается воздух, истаивают силы. Вода уже холодной глыбой давит на грудь, черная бескислородная кровь заливает мозг, в висках гудит и грохочет, нарастает сирена, будто курьерский поезд мчится ко мне, в бессилье стоящему на рельсах. Все, не могу! Наверх! Но что-то, кажется, блеснуло впереди?

Потом, вспоминая подробности, буду сам посмеиваться над собой — тоже мне «герой», ведь мог сначала вынырнуть, отдышаться, потом уж нырнуть наверняка, конечно, мог. Но подсознание действует бездумно и... безошибочно. В отчаянном, судорожном рывке. зажмурив зачем-то глаза, загребаю горсть илистого песка и чувствую — не вижу, но чувствую, черт возьми! — чувствую зажатую в пальцах дорогую добычу, два сферических стеклышка в тонкой металлической оправе.

И вот подумалось: если бы все творилось рассудочно, обошлось бы наверняка проще, без стольких переживаний и без лишних дерганий. Но не нашлись бы тогда те два стеклышка в металлической оправе, стали бы недостижимыми, как звезды. Потому что лишь в запределье, за границей холодного разума и на излете сил невозможное становится вдруг возможным. Нужно только безумно захотеть. Для безумного нет преград!

Что это такое, откуда берется — объяснить мы не можем, но каждый из нас обязательно, как юношеское увлечение, испытывал подобное и в изумлении останавливался, потрясенный неведомой, проснувшейся в себе силой. Человек, не помнящий себя, охваченный ужасом, может превозмочь самого себя в беге, в ловкости, силе и многом другом. Может, к примеру, перемахнуть забор выше себя, чтобы потом, опомнившись, попытаться осознать случившееся: как могло такое сделаться, неужели я? Не может быть! Конечно, не может. но... все-таки было.

Тут бы и точку поставить, прекратить терзания, но человек не был бы собой, если б не пытался дойти до горизонта. Мы непременно должны объяснить себе — прямо-таки жить без этого не можем — почему небо голубое, и отчего листья желтеют? Существует ли то, чего нельзя потрогать — мысль, например, душа? В школе, помнится, нас старательно убеждали, что душа и духовность — поповские выдумки, опиум для народа, пережитки прошлого. Но сегодня так не говорят, зато спрашивают со вселенской озабоченностью, откуда в нас берется бездуховность?

— Папа, ну пап, посмотри.... Нет, посмотри, ты все киваешь, а сам не смотришь! — младшая теребит за рукав и укоризненно ищет мой отсутствующий взгляд. Вот отсюда и берется... Отсутствует в живом мире, не слышим, не видим. не чувствуем, но живем якобы устремленно. Куда устремились? Строить то, чего сами не знаем? Себя бы хоть построить. Притворяемся и врем — по-прежнему много врем, ой как много! Себе врем, детям...

— Ну-ка, Смычок, дай папке свой букет. Смотри, какой славный — весь горит. Даже рукам от него жарко.

— И неправда, совсем даже не жарко.

— Ты юный прагматик.

— А ты не обзывайся. Сам... как ты сказал?

— Я сказал — прагматик. Есть такое словечко. Оно не про тебя, конечно, но как-то знаешь... маленьким каким-то краешком оно и тебя касается.

— Каким краешком?

— Маленьким. Я сейчас попробую объяснить, и ты сама поймешь. Ну, вот возьмем этот осинник? Один человек посмотрит на него, остановится, и лицо его подобреет, и тихо скажет: «Какая красота». Он еще подберет горсть листьев с земли и отнесет домой показать своим детям — пусть тоже посмотрят, порадуются. А другой, такой же с виду человек, даже хода не замедлит, а если показать ему на осины, так он глянет кисло, будто зубы у него болят, и скажет этак: «Низкосортное сырье для производства целлюлозы». Вот этот второй и есть тот самый прагматик. как я его представляю. Он на все смотрит сквозь пользу. Поняла? Он такой весь правильный. все у него по-научному, но у него толстая, как подошва, кожа, и он... он не может мечтать. Ясно?

Молчит, складывает листья аккуратной стопкой. Бледный и тоненький человечек, достающий папке уже до подбородка. Настоящий скрипичный смычок.

Намучились мы с ней, ох как намучились. Трудно родилась. кое-как выжила, изо всех своих малых силенок выкарабкивалась на белый свет. А в три года ее, малокровную крошку, разрезали скальпелем на операционном столе, зашили и через пару месяцев снова разрезали... И была потом неделя в реанимационной палате, 168 часов, изматывающих часов поочередной вахты на краешке постели — часов слабой надежды и страшного ожидания. Был прибор, издающий тихий прерывистый стук, и на приборе пугающее слово «пульс». В середине ночи прибор вдруг затих, и было несколько секунд жуткой тишины, ударившей меня разящим громом. Из меня вырвался какой-то предсмертный крик, от которого дрогнули веки на маленьком восковом лике, и снова застучал прибор. Стучал он плохо, спотыкался...

На крик прибежали сестра и дежурный врач, меня выставили за дверь. И вот, кусая ногти в узком коридорчике, я в отчаянии обратился к тому, кого нет. Помоги, говорил я ему, только один раз помоги, слышишь? Я ведь знаю, что ты есть, помоги! Я никогда не буду больше врать, специально уйду из газеты, перестану раздражаться и ругать других, добро буду творить, все буду, только помоги! Никогда тебя не просил ни о чем, ведь первый раз, один раз, только один, слышишь? — Тот, которого нет, молчал. — Ну, тогда... ну... возьми меня, я согласен, мне хватит, пусть... только ее оставь! — Он молчал.

Когда мне разрешили занять свое место на краешке постели, на соседней койке шевельнулось одеяло, из-под него выпросталась косматая седая голова, и слабый старушечий голос произнес в полумрак палаты:

— Оставь ты их, господи. Прибери меня, грешную, а их оставь. Вот только худо, что не дали дома помереть, да теперь уж ладно... Ты не бойся, сынок, попроси его тоже...

К утру ничейная бабушка померла, так и не дождавшись детей своих, не сказав им последнего слова. Коляску с бабушкой, накрытую белой простыней, катила перед собой совсем молоденькая медсестра. Голову она держала высоко, неестественно твердо и прямо, и казалась бы даже торжественной, если бы не глаза: два черных испуганных зверька, отчаянно мечущихся на снежной белизне лица.

Но отчего-то так совпало, что именно в то зимнее утро к нашему трехлетнему человечку, еще не осознавшему себя, вдруг снова вернулась Жизнь.

— Я уже больше не умру, папа? — спрашивал человечек через три дня, когда, держась за мою руку, совершал первое и очень важное путешествие от койки до окна.

— А мечтать это, значит, притворяться? — вернув в реальность, Смычок пристально смотрит в глаза.

— Что значит притворяться? Почему?

— Ну ты сказал, что рукам от листьев жарко, а на самом-то деле вот нисколечко не жарко, это ведь все знают. Значит, ты мечтал, когда говорил?

— Ну, не то чтобы мечтал, это... как бы сказать...

— Притворялся, значит, только не говоришь.

— Ты почему так с отцом говоришь? Он что тебе — сверстник? Что за тон? Ну-ка, марш отсюда! — Этим нехитрым приемом жена поражает сразу две цели: спасает меня от занудных объяснений, конечный смысл которых не очень-то ясен мне самому, и на время оставляет нас вдвоем, чтобы выпустить накопившийся пар — томящую нас обоих тайну. Но я тяну время, и на ум приходит совсем другое. Круто поворачиваю:

— Помнишь, вчера рассказывал про мусорницы?

...Вчера наш город заполнили люди с мусорницами. Счастливые и несколько даже гордые собой, они победно шествовали по тротуарам, стояли у светофоров и ехали в автобусах. Мужчины, но большей частью женщины внимательно и ласково посматривали вниз, на чудесное свое приобретение — вместительные металлические короба, поблескивающие, словно «Жигули», красно-коричневой эмалью. Таких почти ни у кого не было! Ведь большая часть трудящихся нашего провинциального городка пользовалась примитивными жестяными ведрами... Но са-

мым ценным достоинством короба несомненно была педаль: нажмешь на нее — тут крышка и откроется, тут и пользуйся на здоровье.

Еще на подходе к центральному хозмагу я понял, что именно здесь бьет неиссякаемый источник столь восхитительных вещиц. Но что было внутри! Волнующиеся массы трудового народа и нетрудовых прослоек плотным кольцом осадили, грозя разнести в щепки, ненадежное укрепление, за которым пряталась молоденькая перепуганная кассирша. Со всех сторон на нее кричали, ей чем-то грозили и пытались достать руками с зажатыми в них рублевками. Словно шквал над морем, пронесся слух — «кончаются!» Продавцы из отдела поспешили слух опровергнуть, но народ им не внимал — у нас ведь давно никому не верят, особенно продавцам... «По две штуки не давать!» — родился возглас и дружно был поддержан. Приступом на кассу шли плащи, костюмы и телогрейки, тонкие пальцы с малиновым маникюром по-кошачьи вцепились в чей-то полосатый рукав...

Оглушенный и подавленный (в том и другом смысле), я с трудом выбрался на волю, так и не купив гвоздей. Но и на улице тоже стоял дружный рев, исходящий сразу из нескольких детских колясок. Метнувшись в сторону и за угол, наконец-то с облегчением вздохнул: лицо обдало свежим ветром, в воздухе кружились пожелтевшие лиственничные хвоинки — жизнь продолжалась... «Ты откуда такой зачумленный?» — передо мной стоял давний знакомый. Я рассказал, с болью глядя ему в лицо и ища сочувствия, но приятель, похоже, болел чем-то другим и уловил лишь несколько слов из рассказа. Бегло глянув в мои пустые руки и не обнаружив в них вожделенной мусорницы, он распрощался поспешнее, чем я ожидал, и головой вперед нырнул в разверстый зев магазина.

И подумалось, неужто так мы заросли мусором, так завалились им, что теперь вся у нас надежда на блестящие короба с педалью — уж они-то спасут, они вывезут...

— Вот дались тебе эти мусорницы! Что ты пристал к людям? Осудить — это проще всего, а ты их пойми. Почему не купить красивую удобную вещь, когда есть деньги? Много ли тут радости, на Севере, если и этого себе не позволить? Люди хотят жить, как им удобно, и хотят...

— Да-да, хотят жить красиво и пользоваться красивыми вещами. Все это я уже слышал, но ведь этого мало, пойми, ничтожно и постыдно мало!

— А ты не суди по себе. Не все такие, как ты. Это у тебя все глобальные рассуждения, все ты пыжишься мир перевернуть (ничего я не пыжусь перевернуть, соображаю про себя, просто ты злишься, что не хочу рассказывать, что случилось на дороге), а другим людям этого не надо, они довольны тем, что солнце встало, и новый день начался. Ты человек, ты живешь и ты здоров — разве мало? Ну, представь, что ты вот это дерево — она кивнула на стоящую рядом осину.

— Господин дерево. Прошу обращаться по форме.

— Да-да, господин, извините. — Лицо ее повеселело, полыхнуло румянцем. — Допустим, господин дерево, что прихотью ветра, решающего судьбы семян, вы выросли именно здесь, рядом с дорогой. Никудышное местечко. Был бы всю жизнь обречен глотать пыль и выхлопные газы. Какой-нибудь трактор ободрал бы тебе все бока, вытаскивая из кювета машину. Или притормозит водитель — палка ему нужна для костра — вот ты как раз и подойдешь. Приблизится, не торопясь, возьмет тебя за горло крепкой потной ручищей, а в другой ручище топор. И не убежать никуда, даже с места не сойти. Даже не закричишь. Представляешь?

Попробовал представить. М-да... Неуютно, должно быть, этой осинке растется-живется возле дороги. И вообще скверно быть деревом. Так и простоишь всю жизнь на одном месте, если не срубят, так и не узнаешь, что всего в сотне метров от тебя течет река, никогда не увидишь росные россыпи на лугу поутру, не услышишь тревожного всплеска в сонном ночном озере... Худо, совсем худо быть деревом.

— Да, мой педагог, да. Убедительно. Да кто же из нас, живых людей, положа руку на сердце, откажется от своего обличья и захочет стать... ну, тигром, к

примеру, или хоть орлом — неужто среди нас найдется таковой?

— Вот и я о том же. Хорошо уже то, что ты есть. Знаешь, был дядька один в Эдучанке, его мальчишка в моем классе учился. Его на лесоповале вершиной накрыло, ноги отрезаны почти по ягодицы. Полчеловека... И вот представь, ведь сумел приловчиться, как будто и задуман был таким. Тележка у него с колесиками, отполировал ее культями аж до темного блеска; так он на этой тележке крутился по двору, как волчок. То. смотришь, в огороде копошился, так уже и след простыл, уже в сарае бутылками гремит. Сделал себе станок такой, с бензопилой, сам дрова пилил, целые бревна, веришь, нет, на чурки разваливал. Потом колол. Вскочит на столешню и колуном сверху — трах! — нету чурки. Я как-то видела, он даже крышу сам крыл, никого не звал, все сам. Жену матом крыл — ой, матерщинник... И даже поколачивал, говорят, когда выпивши. Она позволяла, хотя могла и убежать, да и справиться с ним могла бы, но нет, позволяла. Он все шутил: «Ни обутки, ни кустюм мне не надоть, один токо спинжак». Этот его «спинжак» вечно был в земле, потому что часто что-то делал лежа, сидя или полулежа на земле. Земля, кажется, даже из бороды сыпалась, когда встряхивал. Мог запросто заснуть под кустом смородины — пройдешь и не заметишь. Но уж как вскочит, как вскочит потом! Ну сущий черт на пружинке. И сразу ругаться. Только ругался он не зло, не обидно, как другие мужики.

Но все это так — присказка. А соль-то в том, что, увидав его... таким, ты только в первые минуты смущаешься, теряешься и жалишься над ним. Но это проходит, к нему привыкаешь и потихоньку, про себя, начинаешь даже восхищаться, будто перед тобой и не инвалид самой тяжкой группы, а такой же, как ты, ни чуть-чуть тебя не хуже, даже где-то и ловчей в житейских делах. Никогда не ноет, не скулит, на бабьей шее не сидит, как некоторые, сам все может, везде поспевает.

— Некоторые — это кто?

— Ну не ты. не ты — успокойся.

— Спасибо, успокоила, — говорю я, всей своей кожей ощущая причастность к великому племени «некоторых» и оттого, наверное, еще больше взвинчиваясь.

— Но представь себе, нет ни малейшего желания походить на твоего жизнерадостного инвалида. Нет, не то, что ты думаешь, подожди... Я ведь давно хотел тебе сказать: не верю этим вечным оптимистам. В их искренность не верю, понимаешь?

— Ну почему? Неправда. Бывают веселые и искренние.

— Например?

— Ну... ну, хотя бы Денис — разве нет?

— А что Денис?

— Да то, что зря ты так. Разве Денис неискренний? Ты заметь: он никогда не обидит ни словом, ничем. Приходит, и сразу всем хорошо, настроение у людей поднимается. Разве плохо? И лицо у него такое доброе, без притворства, даже ласковое. Посмотри, как любят его дети.

— Дети... Детям простительно, они доверчивы, потому что не вкусили зла. А улыбающихся взрослых уж пора записывать в Красную книгу — вымирающий вид. Не радуются, не поют, даже дома петь перестали. А во что праздники превратились? Скучища! Казенщина, притворство, и снова скучища. Пляски вприсядку на улице, чтоб устоять нельзя было, когда в последний раз ты это видела? И не пытайся, не вспомнишь. А почему? Да потому что желудком живем: кишку набьем потуже и молча перевариваем. Но сердце-то не поет! Оно спряталось и даже выказать себя боится — засмеют еще. Душа сжалась в комочек и тоже схоронилась — стыдно ей, душе, даже сегодня наружу показаться, потому что десятилетиями в подполье была, ведь изолгались вконец, заврались до такой степени, до такой стыдобы, что даже ложь и полуправду не только готовы были правдой объявить, но еще и трещать и гордиться этим, как неким «завоеванием». Какие, к чертям собачьим, завоевания, когда кругом вранье и воронье, помойки и нечистоты — разгребать годами!

— Ты чего кричишь? Какие помойки, какие нечистоты? Ты посмотри: тебя же дети слушают!

— Ничего, пускай слушают. Можно, конечно, и солнцу, и жизни радоваться, как ты говоришь, но лучше, мне кажется, сначала взять ведро, веник и тряпку —

они ведь будущие хозяйки — и начать с генеральной уборки: промыть и распахнуть окна, вымести паутину из углов, повыгнать из нашего дома кой-каких зажиревших пауков, коих мы расплодили от ленности и нежелания мыслить. Деткам нашим еще предстоит навести строжайшую ревизию в наших вылинявших лозунгах, назвать вещи своими именами и, при всем сыновнем уважении к нам, сказать о наших делах всю правду, какую заслужили. А мы уж, как сумеем, будем помогать им по-стариковски: где чего поддержать, где подсказать. Ладно?

— Ладно-то ладно, только ты опять взялся за свое. Устаю я от этих разговоров. Слишком далеко, мировые масштабы.

— Прошу прощения, не мировые, а всего лишь региональные.

— Зачем тебе все это... Не надоело?

— Нет.

— Семьей бы лучше занялся.

— Займусь... Понимаешь, сегодня нельзя всем наслаждаться и радоваться. Кому-то надо бодрствовать, кому-то надо думать.

— А ты что — самый умный?

— Зачем ты так... Я ведь просто размышляю, никому не навязываюсь, сама знаешь. Когда люди не хотят думать и слепо передоверяют свои судьбы всяким умникам, самозванцам — те вдруг объявляют себя «рулевыми», присваивают себе право решать за всех, вводят, подумать только, централизацию мышления! — и рулят куда попало: то на мель, то в затхлое болото — в истории это уже было. При этом жонглируют такими святыми словами, как «народ, совесть, нравственность», и в итоге нравственно все то, что отвечает их целям и сиюминутным намерениям.

— Но сейчас все меняется.

— То-то и оно. Знаешь, я что думаю: как мы все это пережили? И еще думаю, что нам с тобой чертовски повезло — такое прекрасное начинается время. Наше время. Мы еще многое должны успеть и успеем!

— Ладно, не обольщайся. Иди лучше зубы вставь. Жевать-то чем будешь, когда продукты появятся?

— Пусть сначала появятся. Ты подожди, чего-то я еще хотел... Да, твоего Дениса дожевать хотел.

— Не обломай, смотри, последние...

— Постараюсь. Понимаешь, он благообразен чисто внешне. Да, улыбается, да, весь светится, как солнечный зайчик, начинен анекдотами, редкой информацией — прямо-таки находка для компании. Но это в компании, где собираются провести время. Не использовать, а провести. Но что может дать он не скоплению людей, чьи характеры и интересы ему безразличны, а хотя бы одному человеку — жене, дочери, другу (если вообще возможен близкий друг у такого сверхкоммуникабельного человека). Ведь ты заметь, он все время где-то ездит, в чем-то участвует, встречается, общается, гостит, но совсем мало бывает дома, в семье — там ему неинтересно, потому что там его уже слышали, там его *знают*. Раньше, когда я встречал таких лучезарных, они мне казались либо круглыми дураками, либо притворщиками.

— Эта твоя защитная реакция на то, что сам не можешь быть таким же общительным и интересным.

— Возможно. Но об этом не будем. С Денисом, между прочим, при всей его словоохотливости, довольно трудно разговаривать, если брать поглубже. Не то чтобы недалекий он — как раз нет,— знает он много, начитан, но... понимаешь, всю свою начитанность он повернул, как бы сказать... внутрь себя, что ли? Да, наверное. Я вот не видел ни разу, чтоб он переживал, мучился или хотя бы сомневался в чем-то. «Йог не спорит» — это у него такой ответ на всякую попытку задеть его за живое. Не спорит, не вмешивается, не протестует... Зачем ему наша мирская суета? Ведь она может нарушить высочайший смысл его жизни — гармонию *его* духа и *его* тела. Поэтому мне больше по душе дисгармоничный русский мужичок, не владеющий йогой и даже, может быть, скверно выбритый, но способный влепить звонкую, на весь зал, пощечину подлецу и способный поступиться всеми своими гармониями ради плачущего ребенка, готовый один среди сотни встать и твердо сказать «я против», когда председатель собрания произносит свою привычную скороговорку «ктозактопротиввоздержавшихсянет».

— Все это, может быть, правильно, хотя и не очень-то ново. Но при всем при том сам ты не вызываешь... ну, со-

чувствия, что ли. Зло и чуть ли не враждебно говоришь о человеке в общем-то неплохом, который ходит в твой дом.

— А мне и не нужно сочувствия. Что ж я, по-твоему, на руках его должен носить?

— На руках носи хотя бы жену свою, не говоря уж о других. Хотя бы в переносном смысле. А впрочем,— брови насмешливо взметнулись над стеклами очков,— в переносном для тебя будет еще труднее, не так ли?

— О да, синьора, труднее и еще как труднее! Не хочу в переносном, хочу в прямом! — Силюсь подхватить сладко пахнущее мягкое теплое тело, но оно вдруг наливается силой и становится упругим, как огромная скользкая рыбина, затянутая в эластичный тренировочный костюм. Жизнь так трепещет, пульсирует, стремится быть — быть, быть и быть! — в каждой теплой клеточке, в бесконечно-ветвистых системах нервных и кровеносных токов, волшебным образом заключенных в мускулистую плоть — все это чудесное изобретение Природы, называемое моей женой, так хочет жить и продолжаться во времени, то мне вдруг становится холодно и страшно от мысли, что ее могло не быть.

Руки уже не в силах держать тяжелую бьющуюся рыбину, а на плечах тем временем повисли еще две рыбешки, достаточно большие и напористые, чтобы суметь завалить меня на куст жимолости и, исторгнув радостный вопль, тут же оседлать.

И вот на меня, поверженного, припечатанного к земле, прямо из небесной бездны смотрят два румяных, светловолосых ангела, и два призрачных облачка, похожих на комочки белой пушицы, тихо отплывают от их волос на север, в густую и холодную синеву. А из синевы, словно посланец теплого Солнца, возникает березовый желтый листок — вальсирует, кружится в последнем (страшно подумать — последнем!) предсмертном танце. Какое-то время, несколько, может быть, дней, он еще будет на свету и будет трепетать на ветру, будто пытаясь взлететь, но ветры накроют его другими листьями, обреченными собратьями, и станет темно, одиноко и холодно, и начнется обычная работа Времени: обращение светлого солнцеподобного листика в щепотку серого праха. Удивительное заключено в том, что эта работа — та же часть Жизни, как и рождение листика из клейкой березовой почки.

Мир по-прежнему живет своим, мудро устроенным порядком, который мы тщимся расчленить и объяснить неглубокими человечьими познаниями, важно называемыми науками. К счастью, не состоится банкет по случаю окончательной победы над тайнами мироздания, хотя и слышны уже речи о приближении сего скучнейшего события. Любопытство, этот наш вечный двигатель, непреодолимое желание сунуть свой нос в самое сокровенное — все это было, есть и навсегда с нами останется, пусть останется, если так хочется, только скромнее бы — без трескучих речей, фанфар и индюшьего пафоса...

Но два моих ангела, подстрекаемых моей несравненной ангелицей, тем временем превратились в хохочущих чертенят, что в общем-то тоже славно — они расстегнули на мне рубашку и пытаются затолкать под нее упирающуюся кошку, не забывая при этом елозить и приплясывать на отцовских мослах. Картинка из семейной хроники... Так решил господин Случай. Или тот, кого нет. Но решение могло быть и другим, я-то хорошо помню белое лицо и белые ладони за лобовым стеклом «Москвича».

Но и тогда почти ничего не изменилось бы в мире. Ничуть не отклонились бы от курса те два белых облачка, плывущих на север, и этот березовый листок летел бы так же неудержимо в небытие. А изменилось бы вот что: микроскопически малая часть населения Земли, одна среднестатистическая семья не резвилась бы в эту минуту возле дороги, но осталось бы там. Все четверо, может быть, лежали бы рядышком в последний раз, отдавая друг другу последнее тепло, а вокруг ходили бы хмурые деловые люди, что-то зачем-то измеряя и записывая. Словно отстраняясь и не желая иметь с нами ничего общего, они называли бы нас страшным, отталкивающим словом «трупы»... Но нет, все странным образом обошлось, и мы по-прежнему причастны к жизни, ко всему живому — и к тем хмурым людям, которым не пришлось фиксировать несостоявшееся происшествие, и к старичку-велосипедисту, лихо

семенящему короткими сухими ножками в закатанных штанинах, и вот к этой восторженно замершей за спиной мотоциклиста девице, далеко выставившей свои круглые белые коленки, и даже к той невидимой птахе, что сейчас изловчилась ляпнуть на лобовое стекло свой желтый сгусток.

Мы снова мчимся по залитому солнцем шоссе, а это значит, что мы снова в веселом бурлящем потоке, имя которому Жизнь. Поток этот так велик, что никто не знает его начала (разве что тот, кого нет?), и все верят, что нет ему конца, и тем живут. А еще он столь вместителен и многолик, что нет среди нас существа, способного не сосчитать — нет! — хотя бы осмыслить... «Я есть!» — громогласно трубит слон. «Ии-я, ии-я», — зудит над ухом комар. А паук — тот мудро молчит, он и так знает, что он есть. Знают о том и поющие дельфины, и рак-отшельник, и гигантский кондор, и крошечная колибри, и глазастый лемур, и слепой крот, и светящийся жучок-светлячок, и червь-короед — все есть и всем должно быть, и только напрочь лишенный сознания, что он так же есть и так же должен быть, способен замахнуться на столь дивное собрание существ.

Увы, уже замахнулись. Продолжают замахиваться. Кучки генералов и так называемых «рулевых» время от времени сотрясают (им это нужно для самоутверждения) хрупкие весы, на одной чашке которых все упомянутое собрание, весь мир, на другой — их политические догматы, вороха пропыленных слов. Им это нужно, чтоб на них смотрели. А зачем это ему, ей, мне — нам? Не знаю...

Итак, выбор сделан, ничего рассказывать не стану. Молча кручу свою баранку и смотрю на дорогу. Свернули на проселок. Пыль. Опять дождя не было... И вот уж замелькали заборы, дома, домищи и домишки, теплицы, холеные грядки и среди них согбенные труженики частного сектора. Кошка, зачуяв скорую свободу, вспрыгнула на плечо и тревожно вглядывается в штабеля бруса, досок и дровяные завалы: столько мышей пропадает — кошмар! Все чем-то озабочены, заняты, и никто не догадывается, как близко была роковая черта. А зачем догадываться? Зачем морочить себе голову? Ведь не было ничего. Может, мне все показалось? Нет, не показалось. Было. Все было. Просто дана отсрочка. Зачем? А затем, может быть, чтобы успеть спросить самого себя (кто же еще спросит, если не сам) кой о чем.

Такое, например, спросить: а что, мил человек, много ли добра ты принес людям? Или забыл, что обещал тогда, в палате реанимации? А еще, помнится, говаривал ты как-то, что в конце каждого прожитого дня, перед сном, всякий из нас должен задавать себе один и тот же вопрос: стало ли хоть кому-то теплей и светлей от того, что ты прожил от восхода до заката? Да, говаривал... Но жил ли ты сам так, как говорил? Не прячь лица, будь мужчиной. Послушай, как тикают часы, это истекает отпущенное тебе время. Обещал не врать, не раздражаться, ругать только самого себя. Все выполнил?

Ладно, не хватайся за голову. Лучше иди и делай, что обещал. Живи.

Владислав Борисович Огарков (Усть-Илимск) родился в 1946 г. в семье военнослужащего. Окончил строительно-механический техникум, позднее факультет журналистики ИГУ. Публиковался в периодической печати, альманахе «Сибирь», в сборниках «Грибное воскресенье», «Байкальский меридиан», «Твоя земля», «Байкальская сторона».

Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность».



На одном из заседаний совета по литературным музеям, памятникам истории и культуры и литнаследиям Московского отделения Союза писателей РСФСР обсуждались проблемы создания и выпуска капитального, энциклопедического издания разрушающихся, гибнущих, уничтоженных русских деревень. Писатели, ученые, журналисты, краеведы убедительно показали необходимость такого издания.

Деревня Ганькино одна из таких уходящих деревень, одна из многих тысяч. Предлагая вниманию читателей историю этой деревни, рассказанную одним из ее бывших жителей Семеном Ивановичем Прохоровым, редколлегия обращается ко всем нашим читателям, бывшим деревенским жителям, надеясь на их письма, на их сведения, которые помогут нам по крупицам собрать все, что известно им об ушедших русских сибирских деревнях.

ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ГАНЬКИНО

В июне 1986 года, после двадцатилетнего перерыва, я побывал на своей родине в селе Ганькино Чунского района. Поездка была задумана как последнее свидание с родовым гнездом.

После возвращения домой меня все время преследуют картины запустения и разрушения всего, что было создано упорным, тяжелым трудом нескольких поколений трудолюбивых сибирских хлебопашцев.

Как получилось, что небольшое село, насчитывающее около полусотни дворов, не так давно жившее полнокровной жизнью, дававшее стране лес, хлеб, мясо, рыбу и многое другое, стало никому не нужным? Почему разрушался столетиями складывающийся уклад жизни и традиции сибирских земледельцев?

Из истории известно, что освоение Восточной Сибири началось после основания Енисейского острога в XVI веке, а решающую роль в этом сыграли енисейские казаки.

Для того, чтобы узнать, какие земли находятся на востоке, стали направляться небольшие отряды вверх по Ангаре и ее притокам. Один из таких отрядов пошел вверх по Уде (Чуне) и на месте, где стоит теперь город Нижнеудинск, был построен в 1648 году Удинский острог вблизи обитания тофов.

Численность населения стала расти в основном за счет оседания «гулящих людей», то есть тех, кто бежал от крепостной неволи или скрывался от наказаний. Это были сильные духом, смелые и предприимчивые люди. Пополнялось население также за счет ссыльных и каторжан.

Толчком к усиленному освоению русскими первопроходцами долины реки Чуны послужило открытие в 1754 году чунского Петропавловского прихода, с постройкой там церкви «по благославлению Сильверста, митрополита Тобольского и Сибирского с миссионерской целью, для просвещения «новокрещенных тунгусов и язычников».

Многие возникшие в долине Чуны деревни заселялись людьми, жившими до этого по Ангаре и ее притокам.

Немало солдат и казаков, отслужив в Си-

бири срок службы, оставались в Восточной Сибири, становились «пашенными крестьянами». Так, например, в соседнем Бунбуе и сейчас живут потомки (9-е поколение) солдата, отслужившего 25 лет, женившего своего сына на девушке из ближнего стойбища «новокрещенных тунгусов и язычников». Один из его потомков (5-го поколения) жил в Ганькино (Христофор Самойлович Брюханов).

Многие села получили двойное название: официальное и первоначальное, данное еще первопроходцами при возникновении поселения. Так официальное: Балтурино, а первоначальное — Ондрино, Тахтамай — Филькино, Козициномысская—Деревушка, Неванка—Манхачи, Выдрино — Савино. Наше село возникло на бывшем родовом стойбище тунгуса Ганьки и назвали его — Ганькино.

На пустоши, за усадьбами крайних домов еще на моей памяти были заметны следы очагов этого стойбища, а бабушки пугали нас, своих внуков, призраками этого стойбища.

Из переписи 1833 года известно, что деревня Ганькино состояла из 6 хозяйств, проживало в нем 28 мужчин и 23 женщины, а через 75 лет, в 1909 году, было уже 27 хозяйств, 80 мужчин и 81 женщина. В то же время, к примеру, наиболее крупное село Выдрино, позднее ставшее центром Выдринской волости, за это время увеличилось только в два раза. Такой рост деревни Ганькино объясняется близким расположением к охотничьим угодьям, изобиловавшим пушным зверем, так как река Чуна, обогнув большой мыс, пройдя около 20 километров, опять вплотную подходит к селу с другой стороны. Немалую роль в этом играло наличие удобных для хлебопашества земель и лугов под сенокосы.

Как это часто было в Сибири, в Ганькино жили вначале люди одного рода, бывшие между собой родственниками по крови от приехавшего с Муры (притока Ангары) первопроходца Брюханова.

Позднее, в 50-х годах прошлого столетия, оттуда же был привезен и мой дедушка Петр Кормилаевич Брюханов (еще в детском возрасте) с братом Алексеем.

Хорошие условия для жизни привлекли сюда с Муры других, тоже Брюхановых, которые перед тем встречались с ганькинскими охотниками во время осенней охоты в верховьях Муры и Бармо, узнав от них о хороших условиях жизни в Ганькино.

Жили тогда большими семьями. Подраставших сыновей женили, а затем отделяли, помогая всем родом построить им дом, и наделяли скотом.

Например, мой дедушка и бабушка вырастили и выдали замуж семь дочерей, вырастили и женили четырех сыновей, из них трех отделили, а с младшими остались жить сами. Дочерей обычно выдавали замуж в другие деревни и села, так как многие односельчане были между собой родственниками.

Местных жителей называли «чалдонами». Жили они привольно, в каждом хозяйстве имелось много скота, достаточно пашни и сенокосных угодий. Хозяйство вели полунатуральным способом.

Вся тайга, прилегающая к Ганькино, была распределена за охотниками, которые в своих угодьях строили избушки, прокладывали путики, устраивали плашки и кулемки. Осенью все мужчины на месяц и более уходили в тайгу на охоту добывать пушнину, завозя продукты на лошадях. Дома оставались только женщины, старики и дети. Они до ледостава добывали в реке рыбу, запасая ее на зиму. Зимой женщины, кроме обслуживания домашнего хозяйства, мяли лен и коноплю, ткали и шили одежду. Дети выполняли посильную работу в домашнем хозяйстве, вязали невода и сети, с малых лет привыкая к ежедневному труду; оставались неграмотными, так как школы не было. Все жители летом запасали на зиму ягоды, грибы, орехи, строго соблюдая запрет на сбор черемухи, которую сушили, мололи и употребляли при выпечке хлеба. Деньги выручались только от продажи скота и добываемой на охоте в тайге («на промысле») пушнины.

Земля щедро одаривала труд первых земледельцев, которые простыми орудиями: сохой, бороной и верной помощницей — лошадью поднимали только черноземную целину.

Содержание и выпас скота происходили здесь же, осуществлялись теми же крестьянами-землепашцами.

Земля, пригодная под пашню, еще не вся

была распахана, поэтому «уставшие» земли оставались под залежь, под пары или бросались. А с годами под влиянием естественных процессов восстанавливалось их утраченное плодородие.

Хлеб убирали вручную серпами и косами, вязали в снопы и складывали в клади, а обмолачивали зимой цепами на гумне, где пол покрывался льдом. Хлебные снопы перед обмолотом просушивались в риге.

В упомянутом 1909 году Ганькино относилось уже не к Пичугской волости с центром на Ангаре, как раньше, а к Червянской, на Муре, считалось одним из самых глухих уголков Енисейской губернии, откуда местное население не призывалось в армию, а взыскивался ясак. Революция 1905—1907 годов непосредственного влияния на ход жизни местного населения не оказала. Но после поражения революции многие участники революционных событий были отправлены на каторгу и на вечное поселение в Сибирь, в том числе и на Чуну.

Так, к лету 1911 года в Ганькино были уже «водворены на поселение» марксисты Виктор Морозов, Емельян Донченко, его товарищи Никита и Яков и другие.

30 июня 1911 года в Ганькино на поселение прибыли из очередной партии политических ссыльных 13 человек, в основном из осужденных в Пензе на процессе 30 ноября и 1 декабря 1910 года членов революционной организации учащейся молодежи — участников выступлений в Пензе в 1905 — 1907 годах. Среди них: Ранин, М. Г. Робустов, В. М. Коногов, Л. Г. Еляшевич, И. Я. Судаков и И. М. Прохоров, которого везли до уездного города Канска закованным в кандалы.

Позднее, 15 мая 1913 года, после отбытия каторги был «водворен на поселение» в Ганькино Ганжа Петр Трифонович, осужденный 10 сентября 1909 года Варшавским окружным судом. В декабре 1914 года пополнил колонию политических ссыльных в Ганькино Федор Алексеевич Антонов после того, как отбыл срок каторжных работ по приговору военно-морского суда кронштадтского порта.

Подобное «водворение на поселение» происходило во всех деревнях и селах, расположенных на реке Чуне. Такое усиленное «освоение» глубинки позднее было облегчено прокладкой трактовой дороги через Шиткино от Тайшета, где работали многие ссыльные, в том числе и мой отец И. М. Прохоров, два лета в 1912 и 1913 годах. Прокладка этого тракта позволила преодолевать путь от Ганькино до Тайшета за три дня в течение всего года, раньше передвижение было возможно только зимой по санному пути.

Здесь, кстати, можно воспользоваться официальными данными Енисейского губернаторского статистического управления: в то время, когда была образована Неванская волость, в 1915 году в деревне Ганькино было уже 27 старожильческих хозяйств, как и в 1909 году, но добавилось пять поселенческих хозяйств, численность населения возросла на 22 человека, очевидно, в основном за счет поселенцев и... имелась школа с учителем из их числа.

Из пяти поселенческих хозяйств пока известны только три:

1. Прохоров Иван Михайлович, женившись в 1913 году на местной девушке Екатерине Петровне Брюхановой, построил дом и начал заниматься сельским хозяйством. Дом был построен с помощью товарищей по ссылке.

2. Ранин купил себе дом у уехавшего из Ганькино Рукосуева Петра Ивановича. Вместе с ним жили его однодельцы В. М. Коногов и Л. Г. Еляшевич.

3. Донченко Емельян и его товарищи Никита и Яков жили в нижнем конце улицы, к ним приехали жены, жили все вместе, коммуной. Не исключено, когда проходила перепись, писарь записал их всех по отдельности, вот тогда, возможно, и получилось у него пять переселенческих хозяйств.

Донченко и его товарищи были прекрасными плотниками, они построили для села хороший паром, впоследствии долго служивший жителям Ганькино, так как к тому времени возникла необходимость включать под хлебопашество земли за рекой, ранее использовавшиеся только под сенокосы. Тогда же большесемейные, экономически более крепкие хозяйства начали расчищать лет под распашку.

Здесь следует сказать, что были и такие

семьи, в которых не было своих детей, или были дочери, но не было сыновей. Если в семье не было детей, то брали на воспитание у родственников мальчиков, которые впоследствии получали в наследство все хозяйство, а если были едни дочери, тогда родители брали в дом зятя (примака), который становился главой семьи. Таким образом, а Ганькино в конце XIX века появились хозяйства Рукосуевых и Колпаковых.

По истечении сорока лет ссылки всех ссыльных поселенцев правительство причисляло к сословию крестьян, независимо от того, занимались они сельским хозяйством или нет.

Совершившаяся февральская революция в 1917 году в жизнь и быт старожильческих семей изменений не внесла, они продолжали жить и трудиться, придерживаясь сложившихся обычаев и отношения к крестьянскому труду. Но когда дошли вести о революции, колония политических ссыльных заволновалась, радуясь окончанию ссылки. Большинство ссыльных стали собираться к отъезду на родину группами и в одиночку. Ранин продал свой дом Брюханову Петру Кормилаевичу, который отделил в этот дом своего старшего сына Тимофея, имевшего свою семью, но жившего одной семьей с родителями.

Донченко со своими товарищами продали дом Брюханову Егору Гавриловичу для сына Константина, незадолго женившегося, но еще не имевшего детей.

Лишь И. М. Прохоров и Ф. А. Антонов остались здесь, не поехали на родину.

Внешних изменений в быт и жизнь старожильческих семей не внесла и Великая Октябрьская революция. Но влияние политических ссыльных оставило заметный след. Крестьяне стали с большим интересом обсуждать между собой первые декреты Советской власти. Особое внимание было обращено на уравнивание в правах женщин с мужчинами, так как до этого правами на надел земли при ее распределении женщины не пользовались. Старики пользовались половиной надела. Видя справедливость декрета о земле, ганькинские крестьяне одобряли его. Когда к зиме 1918 года в Сибири была свергнута еще неокрепшая Советская власть, а Колчак отменил все изданные Советской властью законы и впервые за два столетия была объявлена мобилизация молодежи в армию, многие ганькинские жители ушли в партизаны воевать за Советскую власть. Инициаторами этого были политические ссыльные Ф. А. Антонов, И. М. Прохоров и А. А. Скубаев. Их примеру последовали Иван Кириллович, Константин Егорович, Павел Тимофеевич, Иван Михайлович, Кузьма Петрович Брюхановы и Гавриил Федорович Рукосуев. Все они участвовали в партизанской войне с колчаковцами на Баерском фронте, где одним из отрядов командовал Ф. А. Антонов.

В селе Ганькино были мобилизованы в колчаковскую армию Иван Николаевич и Сергей Егорович Брюхановы, которые из уездного города Канска сбежали домой. Насильно возвращенный в Канск Иван Николаевич сбежал второй раз, за что его, как дезертира, расстреляли, а Сергей Егорович в первом же бою перешел в Красную Армию, где прослужил до конца гражданской войны.

Как только были изгнаны белогвардейцы из Тайшета и Нижнеудинска, в Ганькино в январе 1920 года была восстановлена Советская власть, создан сельский Совет, в который были избраны представители сел Ганькино, Челюгда, Благодатное, Озерное.

Сельский Совет провел большую организационную работу для практического выполнения декретов Советской власти и особенно нового порядка пользования землей.

После завершения землеустроительных работ в соответствии с новым порядком землепользования ганькинские крестьяне с большей энергией занялись хлебопашеством. В неурожайный 1921 год некоторые крестьяне выезжали в Братский район работать у ангарских крестьян, чтобы дома сэкономить зерно для посева в 1922 году.

С организацией кооперации появилась возможность приобретать плуги и сенокосилки, заменяя соху и косу, облегчая труд и повышая его производительность. В 1926 году сельский Совет построил и открыл в Ганькино школу, в которой стали обучаться и дети близлежащих участков — Челюгды, Благодатного и Озерного.

С середины 20-х годов большесемейные крестьяне, имея многолетний опыт и знания, получили возможность часть урожая прода-

вать кооперации для приобретения нужных машин и инвентаря. Проведенная реформа землепользования дала равную возможность для всех пользоваться землей, пользоваться плодами своего труда. Кто самоотверженно трудился, того земля щедро вознаграждала хорошим урожаем. Их жизнь становилась все более зажиточной. Впоследствии все эти семьи были раскулачены с конфискацией имущества и выселением, хотя все, что они имели, было результатом их труда, труда самозабвенного, без наемного труда или спекуляции.

Редко, но все же были и ленивые крестьяне, у таких «хозяев» пахотная земля засорялась сорняками, а сенокосные наделы — кустарниками, из-за чего они впоследствии были отнесены к категории бедняков, с чем они охотно согласились, так как Советская власть бедняцким хозяйствам давала большие льготы и привилегии.

В декабре 1927 года состоялся XV съезд ВКП (б), который вошел в историю как съезд коллективизации сельского хозяйства. Для пресечения саботажа в хлебозаготовках применялись чрезвычайные меры, вплоть до конфискации хлеба. Одновременно были установлены льготы бедноте, которая получила четвертую часть конфискованного хлеба. Хотя в директиве ЦК и содержались предостережения от голого администрирования, принуждения, антисередняцких действий в коллективизации, тем не менее искусственное форсирование темпов коллективизации привело к нарушению ленинского принципа добровольности объединения крестьян в колхозы.

Проведение этой ответственнейшей работы в Ганькино было поручено уполномоченному товарищу Чемоданову, который стремился закончить коллективизацию «в два счета», опираясь на помощь ганькинских бедняков, в том числе и тех, которые бедняками-то стали из-за своей лени. А лень порождает ложь, — говорит народная мудрость.

2 марта 1930 года в «Правде» появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой он все ошибки и искривления приписал местным работникам, обвинив их в головотяпстве. Так же как и повсеместно, ганькинский колхоз пережил отлив из колхоза, а затем был восстановлен, пополнен переселением в него жителей близлежащих участков Благодатного и Озерного.

Большую роль в укреплении и организационно-хозяйственном устройстве колхоза сыграло претворение в жизнь рекомендаций примерного устава сельскохозяйственной артели. Постепенно жизнь в новых условиях наладилась и пошла год от года привычней и лучше. Колхоз стал своевременно выполнять все даваемые ему задания: поставки государству хлеба, мяса, масла и других продуктов сельского хозяйства, а также задания по лесозаготовкам.

Не обошла Ганькино стороной волна необоснованных репрессий в 1937—1938 годах: в селе не осталось даже ни одного участника партизанского движения.

Для восполнения работоспособного состава колхозников в 1939 году были приняты в колхоз шесть семей плановых переселенцев из центральных областей.

За время Великой Отечественной войны были призваны в Красную Армию 37 ганькинских колхозников, восемнадцать из них погибли, защищая Родину. Дома оставались только женщины, старики и дети, а колхоз удвоенными, утроенными усилиями оставшихся колхозников поставлял стране и фронту хлеб, лес и многое другое, выполняя повышенные задания.

Но вот закончилась победой Великая Отечественная война, стали возвращаться домой демобилизованные воины, которые могли бы пополнить ряды колхозников, но многие из них в Ганькино не вернулись, устроившись на работу в промышленных предприятиях и на строящейся Байкало-Амурской магистрали.

И строительство БАМа, и низкая оплата за заработанный трудодень, и то, что основную массу жителей села Ганькино стали составлять не коренные жители села, а переселенные из Благодатного и Озерного, бывшие переселенцы 1912 года из Минской и Казанской губерний, а также плановые переселенцы 1939 года и позднее из центральных областей Союза, — все это привело к тому, что деревня опустела.

После трудных и сложных этапов 1930 — 1931, 1937 — 1938 годов и военного лихо-

летья потомков старожилов-первопроходцев Брюхановых, основавших село Ганькино, осталось шесть дворов, то есть опять столько же, сколько их было 100 лет тому назад. Жизнь раскидала потомков коренных жителей Ганькино от Черного моря до Тихого океана. Живут они в Краснодарском крае и в Москве, в Читинской области и в Алма-Ате, на Украине и в Новосибирске.

Не считая Ганькино своей родной деревней, своей родиной, новоселы уезжали жить на «трассу» или еще куда-либо, где можно работать, получая зарплату, а не трудодни.

Очередная кампания по укрупнению колхозов — реорганизация ганькинского колхоза имени Ворошилова в отделение Бунбуйского колхоза имени Ленина — привела к упразднению Ганькинского сельского Совета, который был создан в январе 1920 года.

Вскоре прокатившееся по стране освоение целинных земель дошло и до Ганькино. Исходя из сиюминутных интересов, пренебрегая вековым опытом предыдущих поколений землепашцев, были распаханы молопродуктивные земли, издавна использовавшиеся только под выпас скота, а также супесчаные земли, использовавшиеся под сенокосы.

В результате этого животноводство было оставлено без кормовой базы. Правда, первые годы на распаханных землях колхоз получил более высокие урожаи зерновых, чем на истощенных черноземных, но в дальнейшем урожаи стали год от года снижаться.

Так как животноводство (прежде одна из основных отраслей хозяйства) осталось без сенокосов и выпасов колхозного стада, то оно было признано невыгодным. Остался без пастбищ и скот колхозников.

После проведенной выдачи паспортов всем гражданам, достигшим 16-летнего возраста, начался массовый отлив колхозников на «трассу» и в другие места, что дало основание зачислить Ганькино в число неперспективных сел, закрыть школу и магазин, снабжавший население товарами повседневного спроса. А эти меры еще больше усилили отлив населения на сторону, в результате чего Ганькино окончательно опустело.

Многие дома стоят с черными пустыми провалами, хозяйственные постройки порушены, лишь четыре дома остались в пригодном для жилья состоянии, о которых заботятся прежние хозяева, приезжая сюда летом, как на дачу.

Все поля и луга, которые были закреплены за ганькинским колхозом, в настоящее время переданы совхозу «Октябрьский» с центральной усадьбой в селе Новобалтурино, на левой стороне реки Чуны, поэтому правобережные поля и луга ганькинского колхоза да и сама деревня являются труднодоступными для обработки и уборки урожая из-за отсутствия паромной переправы, исчезнувшей одновременно с колхозом, что зачастую срывает своевременное проведение сельхозработ, создает массу других лишних проблем и хлопот, а это приводит к снижению урожайности, а следовательно, к нерентабельности.

Живут в настоящее время в Ганькино только два человека, хотя и не потомки первопроходцев-старожилов, полюбили эти места на всю жизнь и, несмотря ни на какие трудности, не изменяют своей любви ради сиюминутных выгод.

Живут они с верой, что Ганькино «снова откроется», с надеждой на благоразумие людское и любовью к этим прекрасным местам, сотворенным природой.

Вместе с ними верю и я, полагая, что там, где растет хоть одно дерево, вырастет лес, надеюсь, что такое необыкновенно удобное место для умелого хозяйствования обязательно возродится. Люблю, потому что на реке Чуне — родина моя, как же я могу не любить ее?

После окончания работы над историей деревни Ганькино прошло уже больше года.

Недавно я получил письмо из Ганькино от тех ганькинцев, которые самоотверженно продолжают жить там с верой, что Ганькино «снова откроется» (это их выражение).

Они сообщили, что в Ганькино приехала большая семья из восьми взрослых трудоспособных человек: еще не старые отец и мать с тремя женатыми сыновьями и невестками, будут по семейному подряду с Новобалтуринским совхозом выращивать молодняк, уже восстанавливают скотные дворы бывших колхозных ферм.

С. ПРОХОРОВ



ДЕТИ АРБАТА ИЛИ ДЕТИ РОССИИ?

ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЯ И КРИТИКА О МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ

Борис Лапин. Надежда Степановна, коли нам предстоит разговор о масскультуре, может быть, стоит прежде определить, что это такое? Тем более, сам термин, мне кажется, не очень-то удачен. И второе, все-таки более менее ясно, что такое масскультура в эстраде, живописи, в кино и театре. А в литературе?

Распространено понимание, будто масскультура — это та же культура, только, так сказать, второго сорта. Пожиже, для «широких масс». Это вреднейшее заблуждение. Масскультура во всех ее проявлениях — это антикультура. Точнее было бы перевести широко бытующий на западе термин, как «одурманивание, оболванивание масс». Масскультура помогает убить самое ценное, чем обладает человек,— время. Она затягивает неокрепшие души, как наркотик или алкоголь. Она сродни мафии, и бороться с нею весьма затруднительно — ожесточенное сопротивление оказывает как отравитель, так и отравляемый, Я бы определил масскультуру как нравственную сивуху. В этом плане один только журнал «Огонек» тиража 1988 года эквивалентен минимум двум миллионам самогонных аппаратов. В идеологическом же плане масскультура — это настежь распахнутые ворота традиционно чуждому нам образу жизни, миру чистогана, миру «демократии» для сильного и «права» снайперских винтовок.

Надежда Тендитник. Вы правы, массовая культура под флагом плюрализма и демократизации получила практически беспрепятственный доступ к читателю и весьма успешно сбивает его с толку, порождает состояние нездорового ажиотажа вокруг сенсационных разоблачений. Ее воздействие на молодежь пагубно. Недавно мне пришлось слышать от студентов-практикантов признание: «Школьники деградируют в своем сознании. Они высказываются так: не любим свою нищую отсталую страну. Если бы можно было свободно выехать в другую страну...»

При нынешнем тяжелом состоянии экономики безудержная критика событий 1937 г., сосредоточенность лишь на теневых сторонах истории (на этом специализируется целый отряд журналистов, публицистов и писателей) не могут не рождать глубокого пессимизма. Попутно это в немалой степени служит ширмой для новых манипуляций с сознанием людей.

Не может не настораживать благодушие тех, кто по долгу совести и по профессиональному долгу продолжают пребывать в состоянии полной умиротворенности. Знаю немало людей, упивающихся чтением всего, где есть «разоблачительные» факты.

Не так давно в споре о массовой культуре принял участие академик Д. Лихачев. Он заметил: массовая культура была всегда. Что это значит? Можно подумать,

что она, всегда пребывая при истинной культуре, безопасна? Пусть себе? Но жизнь указывает на иное. С момента своего зарождения массовая культура посягала на самое сокровенное в человеке: на чистоту души, на сознание себя гражданином Отечества, на общепринятую мораль.

Во второй половине XIX столетия четко обозначилось стремление принизить, нивелировать национальную окраску русской культуры. Иван Гончаров заметил в 1870 г., что «национальность» стала рассматриваться как «задержка, что впереди где-то стоит идеал слияния народностей, религий, языков»... «Нигилисты, Герцен, люди старые с смелыми умами и бойким взглядом... думают, что так совершенно должно быть».

Думающих иначе сразу записывали в сторонников «шовинизма или квасного патриотизма».

Следует особо выделить советский период развития литературы в плане соседства истинной и массовой культуры. Богданов и Луначарский стали первыми идеологами унификации культуры, которую уже не могли, по их разумению, творить гении, выходцы из интеллигенции и крестьянства, а должен ее сотворить рабочий, вырабатывающий у станка стопроцентную пролетарскую идеологию. В основе такой «парниковой», как ее называл В. И. Ленин, культуры должен был утвердиться идеал «светлого будущего». В подобном здании будущего предусматривался действующим герой-сверхчеловек, меняющий мир мановением воли и руки. Нивелирующий все бездушный коллективизм утверждался повсеместно.

Массовая культура 20-х, особенно 30-х гг, становилась агрессивной по отношению к истинной культуре. Примеров тому множество. Один — самый яркий — история публикации «Тихого Дона», в котором от книги к книге все более возмущала рапповцев фигура Григория Мелехова, никак не вписывающаяся в образ красного бойца, с шашкой наголо рубающего контру. В 60—70-е гг., когда начался пересмотр проблемы крестьянства и села, развитие массовой культуры стимулировалось конкурсами на лучшее произведение о рабочем классе. Сколько таких книг и фильмов понаделано! А где они? Однако свою роль эти «произведения» сыграли: отвратили читателя от книг.

Кроме «производственного романа», по справедливому наблюдению Ф. Кузнецова, появился в последние годы и «торговый» роман (книги И. Штемлера), и военно-патриотическая повесть с приметами коммерческой поплитературы, и пьесы о проститутках, и многое другое. В статье «Ловцы тумана» критик пишет: «Главное здесь то, что и политика, и торговля, и производство, и даже тема войны для этих произведений лишь мимикрия, камуфляж, сюжетная канва, по которой вышиваются узоры развлекательной беллетристики, предназначенной для невзыскательных читательских масс» (Вопросы литературы. 1987. № 12).

Что интересно: в канун VIII съезда писателей СССР и после него на страницах периодической печати прокатилась волна критиканства, призванного смыть все ценности современной литературы. Она вся, без исключений, была объявлена «серой». Эта акция была предпринята для того, чтобы на место «серой литературы» поставить «истинную», то есть ту, что не печаталась. Жизнь вскоре показала: не все фильмы, пролежавшие на полках, были достойны внимания, и не все книги, хранившиеся в столах, украсили литературу.

Борис Лапин. Мне кажется, нельзя смешивать масслитературу и беллетристику. Все-таки беллетристика — это литература. Так сказать, литература более камерная, внутренне ограниченная в своих художественных возможностях. Беллетристика — такой же законный продукт литературного процесса, как и высокая литература. Рядом с Л. Толстым творил Г. Данилевский, рядом с А. Чеховым — П. Боборыкин. В наше время блестящий образец беллетристики — популярные в народе романы В. Пикуля. Но, скажем так, беллетристика если даже и бесполезна как духовная пи-

ща, то безвредна. Не то масслитература.

Надежда Тендитник. Данилевский, Боборыкин, Полевой, Потапенко... Много в русской культуре беллетристов, составлявших ручейки и реки могучей духовной реальности.

Но очень трудно мириться с тем, что ряд беллетристов не удержался от соблазна потрафить вкусам читателей. Видна спекуляция на запросах публики. Сенковский, Булгарин не одно и то же в ряду с Загоскиным, Шаховским, Катениным, но вкупе, как возмущался А. Грибоедов, способствовали «борьбе ребяческой, школьной», способствуя тому, «чтобы отечество наше оставалось в вечном младенчестве».

Или вот такой пример, извлеченный из книги С. Иоффе «Стихов мелодия живая». Соглашаясь с Якубовичем в оценке Надсона: «Только на лире Надсона нашлись струны, отвечавшие чувствам огромного числа людей его времени», автор пишет: «Безвременно умирали, погибали на виселице и от пули, подвергались гонению и травле многие русские поэты. Однако же ни Полежаев, ни Кольцов, ни Никитин, ни даже Лермонтов и Пушкин не снискали столь бурной, лавинообразной, хотя и недолговечной посмертной славы». Щедрые издания Надсона объяснены в книге так: это «полностью соответствовало читательскому спросу». Получается, велик лишь тот, на кого сегодня спрос. Нельзя не видеть, как в памятный год Пушкина — 1987-й — его тщились заслонить фигурой Высоцкого. Уровень сегодняшней культуры организации пушкинских дней дает право сказать о вторжении идей массовой культуры в святая святых. Тут бывает трудно отличить беллетриста от ремесленника.

Какова же сегодня ситуация «читатель — писатель», каково сейчас посредничество критики в этом процессе?

Создается впечатление, будто кроме «Детей Арбата», «Зубра», «Белых одежд», пьесы «Дальше... дальше... дальше...», романов «Жизнь и судьба» и «Доктор Живаго» ничего стоящего не появилось. Раздаются предупреждения насчет иссякающих в столах рукописей, обнадеживают тем, что есть кое-что из написанного за рубежом. А дальше, мол, что? А ведь при процветании многих поделок 60—70-х гг. жила прекрасная русская проза, поистине подготовившая понимание проблемы «так дальше жить нельзя». И сейчас эта проза есть. Книги В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, В. Личутина, Д. Балашова, С. Алексеева создаются и печатаются. А бума критического, да и читательского, увы, вокруг них нет!

Почему так произошло? Вспомним конец 1986 года, когда в преддверии подписки и в ходе ее осуществления ряд толстых журналов объявил: а у нас в портфеле Замятин, Пильняк, Платонов, Набоков, Пастернак, Рыбаков, Ахматова, Твардовский, Булгаков! Поднялись миллионные тиражи. Где уж тут до недавних кумиров и любимцев! Успеть бы за бумом!

Борис Лапин. Я, извините, не вижу никакого журнального бума. Вижу искусственное раздувание тиражей, а это явления разного порядка. То, что меня потрясло как читателя из журналов последнего десятилетия, можно перечесть по пальцам одной руки. Ну, прежде всего «Память» В. Чивилихина, я бы сказал, роман-эпоха, роман-подвиг. «Память» воистину воскресила национальное самосознание русских, это был высокий переворот в душах, прежде всего в душах российской интеллигенции. С «Памяти» начинается лавиноподобный рост интереса к отечественной истории. Ну, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Пожар» нашего земляка В. Распутина — они оценены по достоинству. И наконец, «Все впереди» В. Белова, роман, вызвавший бурю в критике. Мне дорог этот роман своим беспощадным анализом корней и истоков постигших страну бед, срыванием всех и всяческих масок. Бриш и исповедуемые им принципы (чем хуже, тем лучше; все продается, все покупается; я тебе, ты мне; блат выше наркомата) — вот главный нарыв на ослабленном историческими потрясениями организме страны. Пока народ не избавится от подобных

Бришей, всякое движение вперед обречено — таков пафос романа. Вот, пожалуй, и все — если по большому счету.

С другой стороны, конечно же, имеют право на жизнь произведения авторов, по своей или не по своей вине «отставших от поезда истории»: и А. Платонов, и В. Набоков, и Е. Замятин, и другие. Но при чем же тут журналы? Журналы призваны отражать современный литературный процесс, а вернуть читателю шедевры прошлого обязана книга. Но книгоиздание у нас неповоротливо и консервативно, в этом беда. Так что «журнальный бум» — явление, по-моему, скорее полиграфическое, чем культурное.

Надежда Тендитник. Вообще, нет ничего плохого в том, чтобы успеть прочитать все, что не удалось прочесть раньше. Беда в другом — в подмене имен. Рядом с достойными глубокой дани уважения книгами встали книги ремесленные, сенсационные, рассчитанные на неосведомленность и доверчивость читателя. А главное, на чем спекулирует нынешняя особая по окраске массовая культура — это сочувствие жертвам сталинизма, сострадание к невинно загубленным судьбам. Обратите внимание, как трудно, но неуклонно происходит прозрение. Взять к примеру бум вокруг «Детей Арбата». Он по инерции еще сохраняется, но хорошо уже то, что сравнение страстей «арбатских детей» с шекспировскими на веру больше не принимается.

Борис Лапин. Вы правы, масслитература вызвала повышенный интерес к ряду журнальных публикаций, даже ажиотаж среди неискушенных, чаще молодых читателей. Однако это объясняется просто — спекуляцией на теме. Авторами окололитературных произведений умело используется естественный интерес народа к недавнему прошлому, к личности Сталина, к переломным моментам истории, таким, как коллективизация, репрессии 1937 года, начальный период Отечественной войны. Писать об этом честно, «исторично» — неимоверно сложно, по сути, еще нет материалов, еще закрыты архивы. А писать поверхностно, спекулятивно — и легко, и выигрышно. А вы знаете хотя бы одно произведение масслитературы на другие, более «спокойные» темы? Я не знаю. Однако убежден, этот интерес года на два-три, не более. Случится то, что случилось с романом «Доктор Живаго»: стоило его напечатать — и разговоры о нем умолкли. На сей раз навсегда.

На мой взгляд, наиболее яркий образец современной масслитературы — «Дети Арбата» А. Рыбакова. Ажиотаж вокруг книги не случаен — обыватель жаждал знать все о Сталине. И автор романа сделал глубокомысленный вид: я-де и впрямь знаю о Сталине все. И как он подходил к окну, и что думал в этот момент, и что говорил тогда-то Кирову или Ежову. И наивный читатель, не имеющий представления о катастрофическом состоянии современной исторической науки, об этике изображения исторического лица в художественной литературе, принимает досужую выдумку за истину, за историю. Практически же А. Рыбаков располагал лишь теми материалами о Сталине, которые доступны каждому из нас, т. е. фактами, оглашенными еще во времена Н. Хрущева. Никаких новых сколько-нибудь существенных материалов с тех пор не публиковалось, публиковались лишь мемуары, т. е. в конечном счете не факты, а эмоции.

Разумеется, и о недалекой и столь «горячей» истории автор волен писать «вариантно». И в этом смысле я не вправе опровергать, скажем, эпизод Сталин — парикмахер: так могло быть. Но ведь сюжетная основа исторического романа Рыбакова — это плетение Сталиным сети адских интриг вокруг Кирова с целью убийства якобы конкурента в борьбе за власть и развязывания репрессий в ответ на террор. Люди старшего и среднего поколений помнят — на обвинении Сталина в убийстве Кирова споткнулась в свое время кампания разоблачения культа личности Хрущевым. И это естественно: «гипотезы» такого масштаба требуют хотя бы минимальных доказательств. Однако А. Рыбакова

ни доказательства, ни логика истории не интересуют: он спешит всучить свой товар ошарашенному читателю, пока тот не очухался и не разобрался что к чему. А стоит припомнить достаточно известную картину истории того времени, и станет очевидно: у Сталина не было ни малейших причин интриговать против Кирова, наиболее верного и последовательного сталинца, чуть ли не единственного в то время деятеля, на кого Сталин мог опереться без оговорок. Да к тому же у него, у Сталина, было еще предостаточно истинных противников, чтобы расправляться с союзниками и единомышленниками (это убедительно показал А. Ланщиков в «ЛГ» и «Нашем современнике»). Таким образом, в основе романа не только спекуляция на интересе читателя к истории, но и очевидная фальсификация на потребу дня.

Но беда романа не только в этом. Еще до «Детей Арбата» я прочел роман А. Рыбакова «Тяжелый песок», в котором достаточно профессионально живописуется быт еврейских семей довоенного городка на Украине. Полагаю, право каждого писателя восторгаться и умиляться атмосферой своего детства. И Рыбаков ярко, не без мастерства описывает суматошный, шумный, самобытный образ жизни местечкового еврейства. Правда, все герои романа почему-то на одно лицо. Но мне не в чем упрекнуть автора — возможно, это черты национального характера.

И вот «Дети Арбата». Перед нами проходит цепочка персонажей: розовый Саша, черный Шарок, дядя Марк — руководитель крупного строительства, обитатели арбатского дома для правительственной элиты, люди из окружения Сталина, ссыльные в Сибири — и тоже все они имеют одно лицо, один характер, одинаково мыслят и одинаково выражаются. Это словно родные братья рассказчика из «Тяжелого песка», выходцы из местечкового еврейства довоенной Украины, а в конечном счете — сам автор. Не думаю, что так замыслено,— так получилось. И получилось не случайно, а потому, что герои романа — лишь вымышленные одиозные фигурки, «рупоры идей». И странно потом читать, что Шарок, например, оказывается русским.

Но самое комичное, что и Сталин у Рыбакова продолжает этот ряд; он даже мыслит простейшими силлогизмами, как сапожники или ломовые извозчики из романа «Тяжелый песок», он так же простоват и так же себе на уме, так же темен и так же недалек, как, скажем, дедушка Авраам Рахленко. Как бы мы ни относились к Сталину,— масштаб личности, добра и зла, замыслов и их свершений явно и злостно искажен А. Рыбаковым. Такой «местечковый» Сталин вызывает не гнев — лишь снисходительную улыбку недоверия.

Увы, главный герой романа становится не более, чем несмешной пародией. Несмешной — потому что с серьезным явлением следует разбираться серьезно, во всеоружии исторического знания, а не мистифицировать миллионы читателей кое-как слепленной из случайного подручного материала бутафорской фигуркой мелочного злодея. Таким образом, литературная несостоятельность автора налицо.

Но и это не главная беда романа. Главная состоит в том, что А. Рыбаков предъявляет счет Сталину за его злодеяния не от имени народа, а как бы от имени обитателей дома на Арбате, где проживали дети бюрократической элиты того времени, сытые и устроенные сынки и дочки в прошлом заслуженных наркомов. Это не боль и гнев миллионов — это скорее обиды и внутренние недоразумения касты. Страшно далеки от народа все поголовно герои романа; просто их случайно смахнула буря, пронесшаяся над страной, как случайно стал палачом своих братьев по Арбату двойник сосланного розового Саши — черный Шарок. Недаром сибирские страницы романа воспринимаются как прямая клевета на Сибирь и сибиряков, о чем точно сказал В. Распутин. Мы ведь живем в этом краю, который А. Рыбаков рисует адом, и даже гордимся званием си-

биряка. Почему же тогда для «детей Арбата» жизнь здесь — наказание?!

Вот в этой элитарной точке зрения на Сталина и его эпоху, в этой кастовой ограниченности и следует искать причину идейно-художественной несостоятельности романа. Все-таки литература жива духом, болью, чаяниями народа; масслитература ограничивается болячками и претензиями узкой группировки, которая, как бы ни была она близка к власть имущим, все же далеко не страна, не Россия. Вот почему, осмысливая то или иное произведение, даже построенное на сверхактуальных фактах и проблемах, прежде всего следует ставить перед собою вопрос: чьи же интересы представляет автор, кто герои его романа — дети Арбата или дети России? Полагаю, двух ответов на этот вопрос быть не может: истинные дети России не признают в «детях Арбата» своих сверстников и соотечественников!

И, наконец, два слова по поводу языка. Меня не оставляет впечатление, будто это дурной перевод с иностранного. Нигде: ни в городе, ни в деревне, ни на севере, ни на юге никто так не говорит. Это какое-то подобие мертвого эсперанто! Послушайте, давненько уже не появлялось на страницах журналов опусов такого языкового уровня! «Стол украшал гусь» — разве это по-русски?!

Надежда Тендитник. Что же вы хотите, Борис Федорович, от литературной поделки? Масскультура всегда отличалась крайней убогостью изобразительных средств, и в первую очередь языка. Клеймо бесталанности и духовной нищеты — ее постоянная примета. И все же, современная массовая культура иная, чем в 30-х — начале 50-х гг. Тогда главную свою задачу она видела в приспосабливании к канонизации «светлого будущего», к тезису об эволюции жизни от хорошего к лучшему.

Даже теория возникла — бесконфликтности. Кавалеры золотых звезд, передовики всех мастей гуляли по страницам книг беспрепятственно. Меняли обстоятельства с необыкновенной легкостью. В книгах царил сплошной праздник урожая. Теперь в моде скептики, хулители, отрицатели всего и вся.

Особенно выделяется своей откровенностью роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Критики и писатели в лице Л. Аннинского, И. Герасимова и др. объявили роман шедевром уровня «Войны и мира». Чтобы читатель ни на минуту не усомнился, что это именно так, проделана невиданная манипуляция: в каждом номере «Октября», где печатался роман, даны обширные комментарии ко всем четырем частям публикации. Расхваливая на все лады открытия писателя, А. Бочаров в финале противопоставляет «Жизнь и судьбу» всей литературе 70—80-х гг. Он пишет: «В 70-е и особенно в начале 80-х годов литература широко обратится к поиску «всечеловеческих» идеалов, тут найдут место и переосмысление христианской морали, и идеализация патриархальных устоев, и экзистенциалистская мифология, и апология личностного самосовершенствования. Гроссмана же (разрядка наша.— **Н. Т.**), как и большинство писателей 60-х годов, остро волновали такие понятия, как революционные идеалы, свобода народа, общественное самосознание. Оттого-то и была трудной судьба этих книг: они вторгались в болевые зоны жизни, а не растекались в прекраснодушных медитациях на темы духовности» (Октябрь. 1988. № 4. С. 148). Получается так: «Жестокость», «На Иртыше», «Кануны», «Прощание с Матерой», «Царь-рыба», «Пастух и пастушка» — прекраснодушные медитации, идеализация устоев, экзистенциалистская мифология! Что можно сказать по поводу такой вот «профессиональной», мягко скажем, «недобросовестности»? Сравнение «Жизни и судьбы» с «Войной и миром» вырвалось даже на телевизионный экран. Это случилось на читательской конференции «Книжного обозрения», где «масштабы» книги Гроссмана подчеркивались и в записках, и в ответах. Да, есть основания сравнивать. Идет от начала до конца подражание Толстому, в романе которого философия истории следует параллельно с

событиями войны и мира, с трагедией героев и их духовными исканиями. У Гроссмана усилия в этом направлении вылились в соседство глав, где описан быт героев и частично быт войны с непомерно разросшимися философствованиями автора на самые разнообразные темы: о свободе человека, о качестве блиндажей в связи с характером командира, о храбрости и трусости, о фаршированной щуке для Мовшовича, о научном движении в мире в связи с его «неэвклидовым состоянием» и «геометрической природой», о «всесилии науки», об антисемитизме, о духе партийности, о нежности, «не знающей ни закона, ни линии», о «сердечной светосиле мыслей», о покорности «сверхнасилию», о природе тоталитарного строя в Германии и СССР (это сравнение идет постоянно), о национализме и интернационализме, о праве «по-отдельному думать, жить», о разнообразии характеров, о литературе, о маршалах и Троцком, о Бухарине, Гейне, Ходасевиче, о «национальном надклассовом сродстве и его социальной физике», о социализме в одной стране, как «высшем выражении национализма», о добре, о христианстве, как религии, «увеличившей дела разбойников и злодеев, творивших зло ради зла», о «неумолимом лукавстве истории и ее лукавых пальчиках», о том, что может сделать с человеком голод, о «политических друзьях Ленина», об анкетах 30—40-х гг., о фанатизме и т. д. Целые главы — 11, 15 — составили патетические восклицания на тему: «что решила Сталинградская битва»? Ставится вопрос о сочетании «нового уклада», который не захотел отказаться от «старых идейных формул», о том, надо или не надо идти на компромиссы, о России, стране тысячелетнего «неограниченного самодержавия и самовластия», о типе партийных работников, о «внутренностях пролетарской революции» и т. д. и т. п.

Нетрудно догадаться, каково читателю, даже настроенному на философскую волну, переварить столь очевидную гремучую смесь. Тем более, что автор редко говорит от себя и закрывается рассуждениями героев, которые отнюдь не ангелы, но на них в случае чего и ответственность. Избрана этакая «свободная даль романа», претендующего на диалогическую композицию. В. Гроссман и не скрывает, что ему не по нутру учительный характер русской прозы. Он выделяет из нее только Чехова, который якобы только и проповедовал «русскую свободу». А вот Достоевский, как сказано у Гроссмана, удостоился в «соратники» Гитлера, по слухам, повесившего его портрет у себя в кабинете.

Не ставлю перед собой цели анализировать роман «Жизнь и судьба», но коль скоро он стал своего рода бестселлером, книгой, за которой выстраиваются в библиотеках читательские очереди, не могу промолчать по поводу ряда выдвинутых автором положений, и прежде всего о декларируемой Гроссманом идее свободы. О свободе много стали писать в последние годы. Свобода истолковывается как главный противовес сталинизму, всяческим запретам, регламентациям, в том числе попыткам сберечь одно из главных сокровищ — идеал культуры. Идеал в высоком значении этого слова. Здесь я хотела бы позволить себе процитировать С. Аверинцева, который в книге «Попытки объясниться» (1988) пишет: «Среди нас уже ходят молодые люди, подчас наделенные способностями и каким-то невеселым умом, которые не хотят (или не могут?) руку протянуть, чтобы вступить в обладание наследием культуры; это и не назовешь ленью, это хуже. Старый, как мир, порок лени мог быть веселым, потому что не расстраивал фундаментальных жизненных функций личности. Тут не лень, тут разрушение воли к культуре и самой способности этой воли, отличающееся от лени, как злокачественная опухоль от доброкачественной. Вот чем оборачивается подмена идеала культуры.

На таком примере легко видеть, как «вечные» вопросы сами собой переходят в злобу дня. Мы переживаем сейчас время большой надежды и еще большей тревоги. Обстоятельства, ничего не скажешь, во многом меняются к лучшему, но люди

продолжают, увы, меняться к худшему, причем быстрее и радикальнее. Либо инерция распада будет остановлена общим нравственным усилием, либо перед нами угроза, которую не с чем сравнить».

Сегодняшние выпады против утверждающих и укрепляющих человека идеалов симптоматичны. В статье А. Гангнуса «На руинах позитивной эстетики» эта идея властвует над критикой левых марксистов-немарксистов, Горького, соцреализма. Видимая смелость автора заслоняет главное — защиту всеохватывающей свободы. Ставя в вину Луначарскому чаяние видеть общество, «спаянное полным единомыслием», упрекая его за тезис о марксизме как «пятой великой религии, формулированной иудейством», А. Гангнус пишет о «слабости Горького — общей его с другими большими русскими писателями слабости числить себя не только по ведомству муз, но и в ряду пророков и вождей человечества» (Новый мир. 1988. № 9. С. 155).

Итак, общественную сущность русского искусства — долой, да здравствует искусство муз — чистое искусство. Лозунг не новый, но в переживаемый страною момент — в трудное время, когда нужно остановить инерцию распада, — симптоматичный.

В статье А. Гангнуса есть и другие откровения насчет чистой, освобожденной от нравственного закона науки. Он пишет: «Наука успешно развивается там, где ученым дают «удовлетворить любопытство за чужой счет», то есть заниматься фундаментальными исследованиями. Ученый должен работать вдохновенно, запойно, не думая ни о чем, кроме научного результата, открытия, к которому он устремлен. Проблема применения результатов его работы — вопрос следующий. Результатом легче распорядиться, когда он есть». Вот такие вот откровения. Настолько они откровенны, что и комментарии излишни.

Статья А. Гангнуса и роман В. Гроссмана написаны в разное время, но в них, как ни странно, много совпадений. Особенно это касается рассуждений о свободе. Как она истолкована в романе «Жизнь и судьба»? «Свобода, — пишет В. Гроссман, — приговор тоталитарному государству», и развивает эту идею следующим образом: право человека сохранить свою «скромную особенность»—«единственный и вечный смысл борьбы за жизнь». «Богоносцы всегда стремятся насильственно вселить бога в человека, а в России для этого не постоят ни перед чем, подколют, убьют — не посмотрят»,— это из рассуждений Мадьярова. Доброта и свобода, по В. Гроссману, должны быть «вне религиозного и общественного добра». А вот что думал об этом в конце прошлого века В. Соловьев: «Человек не может существовать, а следовательно, развивать свою свободу и нравственность иначе, как в обществе» («Право и нравственность. 1899).

Особого внимания заслуживает понимание Гроссманом национального и интернационального...

Борис Лапин. Кстати, последнее время в печати интернационализм нередко трактуется как содружество народов вне национальных особенностей, национальных черт характера, национальных культур. То есть не союз полноправных единиц, а союз нулей. На мой взгляд, такое «содружество», чреватое утратой национальной самобытности, ничего общего не имеет с подлинным интернационализмом. Это называется иначе — космополитизм!

Надежда Тендитник. В романе не раз доказывается, что главное условие свободы человека — его свобода от государства. На этом пути героям представляется помехой национальное сознание, якобы искажающее путь человека и страны после победы русского оружия. «История России, — читаем в романе, — стала восприниматься как история русской славы, а не как история страданий и унижений русских крестьян и рабочих. Национальное из формы перешло в содержание, стало новой основой миропонимания». Национальное в человеке мыслится писателем как прекрасное проявление сознания в переломные эпохи, и оно «пре

красно, потому что оно человечно, а не потому, что оно национально».

Итак, в итоге свобода трактуется автором как состояние полной независимости человека от чего бы то ни было: от гражданственности, чувства национального и исторического сознания, от государства.

Исходя из этого, В. Гроссман довольно однообразно изображает героев как скопище носителей взаимоисключающих чувств. Ни в одном из них, в том числе в любимом Штруме — физике-ядерщике, нет стержня. Писатель любуется всем: тем, что герой не отягощен возможными катастрофическими итогами и последствиями открытий физики, двойной жизнью в семье, немыслимым эгоизмом, самолюбованием, убежденностью в своем превосходстве над миром.

Борис Лапин. Где-то мелькнуло мнение, что Гроссман в этом романе скептически относится к Сталинградской победе, поскольку она-де способствовала подъему национального самосознания русских. Как вы полагаете, так ли это?

Надежда Тендитник. Безусловно, так. Автора в высшей степени не устраивает рост национального самосознания, в нем видит он опасность рождения «русского шовинизма». Книга «Жизнь и судьба» переполнена презрением к стране и народу, история которого представлена как тысячелетнее рабство, реакция союзов типа Михаила Архангела, как торжество «квасного патриотизма» и т. д. Россия, по Гроссману, страна «могучих предрассудков» насчет «объединения во имя расы, бога, партии, государства».

На протяжении всей книги проводится сопоставление немецкого национал-шовинизма с придуманным автором «русским тоталитарно-националистическим строем». Великая Сталинградская битва, знаменитый жуковский «котел» охарактеризованы как действия, подобные тем, что знали еще волки и неандертальцы. Вторая мировая война по той лишь причине, что в ней пострадали евреи, названа «самой жестокой, выпавшей России за 1000 лет ее жизни». Так может думать только человек, глубоко безразличный к истории страны, в которой он живет. Если поверить В. Гроссману, получается, что в военные годы иным офицерам Бухарин буквально по ночам снился. Они то и дело возвращаются в мыслях к Троцкому, Зиновьеву, Каменеву...

Можно только удивляться тому, сколько ненависти выплеснул автор в отношении к стране, где была прожита его жизнь. А ведь пишет Гроссман о времени, когда Россия переживала трагедию войны, когда выпали на ее долю тяжелейшие испытания, и у людей, естественно, были обострены чувства патриотизма, сострадания, сопричастности! Куда они испарились у Гроссмана, были ли они?

Убеждена: если кто-то из читателей незнаком с понятием космополитизм, он может получить полное представление о нем по роману «Жизнь и судьба». Его идея — «научное движение в мире, освобожденном Эйнштейном от оков абсолютного времени и пространства».

Особого разговора требует описание военного сталинградского, московского и эвакуационного быта. Создается впечатление, что военного и тылового лиха автор просто не знал или же ко времени написания романа напрочь забыл, почем тогда стоило все это. Книга «Жизнь и судьба» вошла в обойму «сенсационных». Но сенсационность никогда не была принадлежностью истинного искусства. Она била и бьет на неразвитое эстетическое и нравственное чувство, на неискушенность массового читателя, которого можно одурачить рекламой, обещанием прочесть «неслыханно смелое». Искусственно раздутый ажиотаж вовлекает в чтение широкий круг людей, часто не подготовленных к критической оценке такого рода «шедевров». В итоге автор дезориентирует читателя, прежде всего молодого, уводит его в мир групповых пристрастий, ложных исторических ценностей и фальшивых идеалов...

Борис Лапин. По-моему, Надежда Степановна, эти романы вызывают столь

острое неприятие не только потому, что они идейно и художественно несостоятельны, но прежде всего потому, что определенная часть прессы заранее провозгласила их «книгами века». Да мало ли выходило всегда плохих романов! Но еще не было случая, чтобы «своя» критика выстраивала их в столь явно военизированные когорты! Естественно, вызывает протест, если со стораниц десятка изданий нам талдычат вот уже два года: Рыбаков гений, Мандельштам гений, Гроссман гений, Пастернак гений! Не многовато ли гениев?! И не доносит ли от этих «когорт» затхлым душком национализма? Тем самым провозглашенным В. Гроссманом в «Жизни и судьбе» и запущенным вдогонку роману в девятом номере «Октября»? Тем самым, в котором все, кто не «богоизбранная нация» — «завистливые дураки и неудачники»?! Что и говорить, явно не в атмосфере перестройки душок!

А еще некий Д. Фельдман в «Литературной России» упрекает в свое время рецензировавших роман Г. Маркова, С. Сартакова, С. Щипачева, В. Кожевникова, А. Кривицкого, Б. Галанова, Л. Скорино и других в том, что-де они не порекомендовали роман к печати! Да судя по опубликованным тут же их выступлениям, Г. Маркова и компанию следует привлечь к партийной ответственности за беспринципность и мягкотелость! В. Кожевников даже предложил обсудить, «как и почему произошла такая беда и даже, можно сказать, катастрофа с нашим товарищем по Союзу писателей». Будто написать книгу — что оскользнуться на подмерзшем тротуаре. Тем более, в свое время А. Твардовский даже куда более пристойный роман «За правое дело» не без резона назвал политической ошибкой!

Ну, с Рыбаковым и Гроссманом понятно, это, так сказать, орудия крупного калибра. Но зачем же вопреки истине и здравому смыслу во что бы то ни стало выставлять в первые номера действительно немало сделавших для русской культуры О. Мандельштама и Б. Пастернака? Разве же не почетно занять свое заслуженное место в великой русской литературе, пусть во втором ряду, пусть в третьем, но ведь сразу вслед за такими гигантами, как Блок, Есенин, Маяковский, Исаковский, Твардовский?! Разве, скажем, Пастернак-поэт потерялся бы за их спинами? Однако кое-кому хочется непременно перевернуть историю литературы с ног на голову, еще раз попытаться скинуть «с корабля истории»... на сей раз не Пушкина, но хотя бы Есенина, Маяковского, Горького, Шолохова.

Да, верно, плохих, слабых книг во все времена было предостаточно, и всегда кто-то пытался возвести их в ранг шедевров; но никогда еще это не делалось столь назойливо и помпезно и столь явно в интересах малой группы. Ну помилуйте, можно ли всерьез говорить о «Белых одеждах» В. Дудинцева как о произведении литературы?! Да еще, словно напрочь лишившись общественной и эстетической ориентировки, присуждать книге Государственную премию? Ей-богу, печальной памяти «Кавалер золотой звезды» был куда художественно состоятельнее! Я глубоко уважаю А. Бека, как автора одного из лучших произведений о войне («Волоколамское шоссе»). Но «Новое назначение»... А чего стоят хотя бы спекуляции на имени Твардовского, беспомощные попытки противопоставить его всей советской литературе? Выставить вершиной его творчества несостоявшуюся поэму «По праву памяти», написанную уже неизлечимо больным человеком? И противопоставить ее гениальным творениям лучших лет истинно народного поэта — «Стране Муравии», «Теркину»?! Вся эта возня (иного слова не нахожу) вокруг литературного наследия времен культа личности и застоя — тоже ведь спекуляция в духе масскультуры, попытки отвратить читающую публику и прежде всего молодежь от истинной культуры, истинной литературы. И попытки, к сожалению, не бесплодные.

Надежда Тендитник. В дополнение к вашему удачному, как мне кажется, определению «возня»... Под при-

крытием сенсационных разоблачений, критики прошлого и особенно русского уклада жизни и сознания, под звуки новейшего марш-парада «что не запрещено — то позволено» формируется четко выраженная ориентация на опыт Запада, на буржуазный образ жизни, на опыт эмигрантов. А ведь не сегодня сказано, что представляла собой в основе своей, за редчайшими исключениями, эмигрантская волна 70—80-х годов, самая эгоистичная, прагматическая и замкнувшаяся на ненависти!

Нам обещано пополнить картину развития современной прозы за счет издания книг, вышедших за рубежом. Кто же определит, что следует, а что не следует издавать из эмигрантских сокровищниц? Как никогда сейчас важна роль объективной, хорошо подготовленной критики, которая обязана помочь читателю определиться в тяжелом литературном климате наших дней.

Борис Лапин. Боюсь, имена эмигрантов, чьи писания до зарезу необходимы советского народу, уже определены — и без участия той мудрой и дальновидной критики, о которой вы говорите. Под небеса вознесен Галич. Ждут своей близкой очереди и Даниэль, и Аксенов, и Гладилин. Как сообщает в «Книжном обозрении» историк-многостаночник Рой Медведев (по его собственному признанию, он работает сразу за четырьмя столами), диссиденты «готовы поддержать нынешнюю перестройку в стране, они готовы на консолидацию сил с наиболее прогрессивными представителями советской интеллигенции». Вот так — ни больше и ни меньше! Как тут обойтись нашей перестройке без столь надежных союзников и наставников!

Что же касается критики... К сожалению, и здесь не видно особого подъема. Правда, появилось с десяток отличных критико-публицистических статей. Хочется назвать зрелые и глубокие выступления В. Горбачева в «Молодой гвардии», В. Бондаренко в «Москве», Т. Глушковой в «ЛГ», честную и всегда доказательную критику «Нашего современника». Не могу не согласиться с объективной статьей Д. Урнова по поводу личности героя романа «Доктор Живаго» в «Правде», с оценкой там же политических спекуляций для театра М. Шатрова. Однако самое талантливое в критике и публицистике последних лет — выступление В. Распутина в защиту патриотического общества «Память» в г. Горьком (опубликованное в «Нашем современнике») и проникнутое болью за судьбы отечественной культуры блистательные выступления Ю. Бондарева, особенно его речь на XIX партконференции. С другой стороны, показательно, что критика группировки масскультуры выродилась в брань, в бездоказательные и натужные обвинения, полные неприкрытой тенденциозности и откровенно ходульные (статьи Ю. Карякина, Ю. Буртина, А. Мальгина, Б. Сарнова и др.). Верно замечено: когда человек весь отдается лжи, его покидают ум и талант. И уж вовсе вне литературы, вне критики статьи «сестер» Н. и Т. Ивановых. По уровню наглости и невежества это скорее жанр базарный, чем литературно-критический.

А в «Книжном обозрении» некто без роду и племени Поэль Карп (она? он? француз? эскимоска?) так расправляется с нашей национальной гордостью — романом М. Шолохова «Тихий Дон»: «Третья книга романа еще слабее второй!» Тут уж мы вправе поинтересоваться: не по скверному ли переводу знакомилась г-жа Поэль с романом?!

Надежда Тендитник. Засилье групповщины в критике привело к странным деформациям облика ряда журналов. Кроме названных здесь «Огонька» и «Знамени», кроме «Юности» и «Комсомолки» никак нельзя миновать имени старейшего журнала — «Новый мир». Даже в самые трудные годы он не имел столь странного лица, точнее, отсутствия лица. Видимо, С. Залыгин полагал, что журнал, эта мощная общественная трибуна, может существовать безвредно и бесполезно для общества, не имея четкой гражданской позиции, никуда не призывая, ни от чего не предостерегая.

Борис Лапин. Это, на мой взгляд, самый острый вопрос: куда же ведет, куда пытается вести масскультура? В экстремистской печати то и дело фальсифицируется история, черной краской мажутся героические страницы истории России, Советского Союза. Народ тут и там запугивают репрессиями, нагнетая страхи, раздувая истерию, — не лезь, дескать, Иван, в политику со своим свиным рылом, все это может повториться! Все чаще вздымается над страницами различных «огоньков» в качестве героя времени фигура диссидента. «Патриотизм» становится словом ругательным. Составляются зловещие списки «антиперестройщиков», постоянно мелькают многозначительные намеки на какие-то одним авторам статеек известные события «там, наверху». Дошло до того, что в двух подряд номерах «Огонька» эмигрировавший в Израиль некто Сойфер под видом разоблачения лысенковщины расправляется со своими личными врагами! Как говорят читатели одного печально знаменитого драмодела — «дальше некуда!»

Полагаю, это далеко не случайные и не разрозненные факты. Это тщательно продуманная кампания, направленная против перестройки. Опасно бросаться в ноги перестройке прямо так, оголтело, не проще ли, не надежнее ли заболтать перестройку, свести ее к бесплодным и неактуальным дискуссиям по вопросам литературы и истории — и таким образом отвлечь от крайне необходимых преобразований в экономике, общественном строе, национальной политике, сельском хозяйстве, праве, в возрождении культур союзных республик, наконец?! Масскультура, даже доморощенная, действует в интересах самых реакционных сил планеты, сил антисоциалистических, антинациональных, антинародных. Недаром же на идеологическое покорение Советов различными явными и тайными управлениями, фондами и лигами в защиту ассигнуются многие миллиарды долларов.

Надежда Тендитник. Любопытно в этом плане проследить, как используется ныне в печати лозунг «учиться демократии»...

Борис Лапин. Да, об этике ведения дискуссий много говорится. Д. Гранин, В. Коротич, другие «соловьи перестройки» то и дело призывают к «милосердию», к «взаимоуважению», к вежливым дискуссиям по образцу «западных демократий». Но эти же «огоньки», «московские новости» и прочие, как по команде, одновременно открывают кампании травли истинно народных писателей, народных заступников: то В. Белова, то А. Иванова, то Ю. Бондарева, теперь вот В. Распутина. Тот же Коротич, не осмелившись в открытую выступить против Ю. Бондарева с трибуны партконференции, как это обязан был сделать коммунист, задним числом и с безопасной позиции, укрывшись за обложкой собственного журнала, обвиняет Бондарева во лжи. Что и говорить, красивая позиция для претендента на звание «идеолога гласности!» Благо, хоть Г. Бакланов не струсил, вышел на трибуну. Но где уж тут помнить о культуре дискуссии, где уж тут следовать принципу социалистического плюрализма! Вместо того, чтобы поведать партийному форуму о своих болях, заботах, надеждах, коли они у него были, оратор попытался дискредитировать коллегу — Ю. Бондарева. Итог известен — делегаты согнали очернителя с трибуны.

Может быть, после такой пощечины Г. Бакланов, следуя принципам не только любезных ему «западных демократий», но и страны, где он проживает, подал в отставку с поста редактора журнала, традиционно призванного воспитывать патриотизм? Ничуть не бывало! Делает вид, что ничего не произошло. Более того, вкупе с В. Коротичем принялся оголтело ревизовать и шельмовать дух и букву XIX партконференции, пытаясь умалить ее значение, в частности, единодушный отпор делегатов экстремистскому разбою в прессе. К сожалению, и у нас в Иркутске нашлись подпевалы и адвокаты согнанного с трибуны партийного форума автора анекдота об английской королеве.

Надежда Тендитник. На всех собраниях, встречах, конференциях сейчас слышишь: не командовать! И верно, на уровне духовного сознания команды не нужны. Но вседозволенность в идеологии недопустима! Что же остается делать, как остановить разрушительный процесс? Существует лишь один способ: противопоставить мнимым ценностям ценности истинные. Но этого-то и нет! Осуждая запреты, средства массовой информации всеми силами держат классику под спудом, «осовременивают» и вольно интерпретируют ее. Ее, классики, идеалы уходят из сознания людей, особенно значительной части молодежи. «Но все же я думаю, — писал И. Гончаров С. А. Толстой в 1870 г., — все народы должны прийти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через национальность, то есть каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал». Однако путь для пропаганды истинных ценностей один — подлинная гласность и подлинный плюрализм, до которых нам еще далековато, как отметила и XIX партконференция. Да и не нужна глашатаям антикультуры подлинная гласность, подлинная демократия, они делают и сделают все возможное, чтобы затормозить духовное развитие общества.

Вспомните, какой шабаш поднялся осенью 1988 года, когда было принято решение о сохранении прежних тиражей газет и журналов! Казалось бы, борьба за свободную подписку — дело святое. А на самом деле что за этим скрывалось?

Борис Лапин. Не что иное, как попытка монополизировать общественное мнение. При этом всячески, правдами и неправдами, урезались тиражи «Нашего современника», «Молодой гвардии» и других «инакомыслящих» журналов. Вообще, возвращаясь к теме журнального «бума», должно, вероятно, сказать, что не следует путать вопрос о свободной подписке с оценкой «бума» как явления культуры. Свободная подписка заслужена нашим народом, и ее следует всячески приветствовать. Другое дело, что «изысканные» правительством многие тысячи тонн бумаги, брошенные на ликвидацию газетно-журнального дефицита, не с луны свалились, они изъяты из книгоиздательства, и без того хромающего на обе ноги. И если учитывать, что книги читаются от корки до корки и неоднократно, а журналы и газеты лишь просматриваются и тут же пополняют склады макулатуры, можно представить, какой урон понесла подлинная культура вследствие искусственно раздутого «бума». Однако явление это временное: все реки рано или поздно входят в берега, войдет и эта. Один за другим лопаются на глазах одураченной было публики мыльные пузыри масслитературы — и как тут ни усердствуй с материалами на «жареные» темы всевозможные «огоньки», тиражи их будут неуклонно падать. Разумеется, процесс это сложный, не одного года, а может быть, и не одного десятилетия потребует процесс очищения от пены, сопутствующей первым шагам перестройки. Но убежден — неуклонно будет расти интерес самых широких масс к книге, к истинной высокой культуре, истории, философии, и это неизбежно, потому что прогресс не повернуть назад, хотя затормозить его можно, что и делают на наших глазах черные рыцари масскультуры.

Публикуя диалог писателя и критика, издательство надеется, что поднятые проблемы не останутся без внимания читателя. Многие из высказанных мыслей покажутся спорными, но тем лучше — истина рождается в спорах. Будем признательны тем, кто выскажет свою точку зрения, примет участие в дискуссии по всем поднятым авторами вопросам.

Ждем откликов.



К 150-летнему юбилею фотографии

7 января 1939 года на заседании парижской Академии наук изобретение Дагерра было признано выдающимся открытием века. В конце 50-х годов XIX века на смену дагерротипу пришла фотография. В Сибири становление фотографического искусства охватывает два десятилетия, 40—50-е годы прошлого столетия, когда в Иркутске и других городах Сибири открываются первые фотографические заведения. С историей становления фотографии в Иркутске связаны имена О. Либгардта, А. Гофмана, И. Мальмберга, В. Ривеса.

Долгие годы основным видом фотографического искусства был портрет, но в дальнейшем, в результате развития фототехники, стало возможным применение фотографии во всем многообразии ее жанров. В начале 60-х годов XIX века фотограф Ривес занимается фотосъемкой архитектуры города, в это же время Гофман фиксирует события, происходящие на углу улиц Большой и Ивановской, где весь город собрался на «церемонию закладки фундамента для Часовни Спасителя».

Большой популярностью пользовалось фотографическое заведение купца II гильдии И. Д. Мальмберга на улице Большой. Он, как и А. К. Гофман, экспонирует свои фотографии на городских выставках, а также в музее. Побывавший в Иркутске в 1873 году князь Алексей Александрович посетил музей, осмотрел коллекции, в «том числе фотографические работы Мальмберга», спустя несколько дней «князь снимался в его фотографии».

Во время пожара 1879 года сгорели музей и библиотека, а с ними и все ценные коллекции фотографий, собранные за два десятилетия деятельности иркутских фотографов.

После пожара в городе открываются десятки новых фотосалонов. Фотография становится доступной всем — купцам и простым людям, двери фотосалонов открылись для всех. Студенты и учащиеся пользовались привилегиями, фотографии они выкупали за полцены. Наиболее известными в последние два десятилетия прошлого века были фотографы Д. Н. Мамонов, Н. А. Лавров, Г. Энне, Г. М. Богданович, П. А. Милевский.

Особый интерес вызывают сейчас фотографии польского ссыльного Петра Адамовича Милевского, приехавшего в Иркутск в 1883 году. В своей работе Милевский с успехом использовал множество жанров: портрет, событийная фотография, съемка архитектуры, научная, судебная фотографии. Став членом и фотографом Восточно-Сибирского отделения императорского Русского географического общества, Милевский путешествует по Иркутской губернии, Забайкалью, откуда привозит фотографии коренных жителей этих мест. В 1889 году на выставке, проходившей в музее ВСОРГО, он экспонирует свои фотографии. В этом же году Милевский участвует в фотографической выставке, проходившей в Москве, где получает серебряную медаль. Во второй половине 90-х годов XIX века по заданию музея и библиотеки ВСОРГО Петр Адамович делает целую серию фотографий памятников архитектуры Иркутска. В настоящее время в музее (ИГОМ) хранится только часть фотографий этой серии, есть такие фотографии в частных коллекциях, библиотеках. В коллекцию фотографий вошли снимки зданий, расположенных на улицах Большой, Амурской, Ивановской, Тихвинской площади. На фотографиях изображены городские училища, построенные после пожара: Глазковское имени князя Владимира, Успенское и Пре-

ображенское, Народное крестовоздвиженское и Воскресенское, Мариинское пятиклассное училище; ремесленные дома; Мариинский, Александровский, Медведниковский, Базановский приюты; бесплатные школы В. П. Сукачева, Антонины Кладищевой; ремесленно-воспитательные дома Н. П. Трапезникова, И. С. Хаминова.

Большой интерес представляют фотографии, посвященные храмовой архитектуре. Сохранились фотографии, часовни Христа Спасителя на улице Большой (фундамент заложен в 1866 году, снесена в 20-е годы XX века); Благовещенской церкви, Кафедрального собора (снесены в середине 30-х годов), а также снимки внутреннего вида храмов. На одной из таких фотографий запечатлен иконостас церкви Сиропитательного дома Ел. Медведниковой, размещенной в просторной комнате. Судя по фотографии, в устройство церкви Сиропитательного дома были вложены большие средства. Драгоценными металлами в избытке отделаны Царские врата, а также верхний ярус иконостаса, по устройству напоминающий купол храма. Другая фотография Милевского знакомит нас с внутренним убранством церкви Института благородных девиц. Эта фотография уникальна тем, что на ней изображен внутренний вид алтаря. Сохранилась фотография Милевского, на которой изображены средняя и алтарная части Нового Кафедрального собора на Тихвинской площади.

В 1891 году П. А. Милевский по заданию ВСОРГО становится участником событий, происходивших в Сибири во время путешествия наследника цесаревича Николая. Коллекция фотографий, посвященная этому путешествию, насчитывает около пятидесяти снимков: встреча будущего императора иркутянами на берегу Ангары, освящение понтонного моста через Ангару, посещение золотосплавочной лаборатории, казачьих казарм, дисциплинарной роты. Милевский побывал в Енисейской губернии (Канск, Ачинск, Березовка, Кемчук), фиксируя сцены приезда и отъезда наследника. Одновременно он фотографировал и архитектуру тех мест, где побывал. На многих фотографиях изображен Иркутск, дома, украшенные флагами, хвойными гирляндами, вензелями и транспарантами.

В коллекции находятся фотографии золотых и серебряных блюд, украшенных искусной гравировкой, чеканкой, вензелями царской фамилии. Эти блюда были подарены наследнику Иркутским городским обществом, золотосплавочной лабораторией, Восточно-Сибирским отделом императорского Русского географического общества, Кяхтинским пароходным товариществом, иноверцами Верхоленского округа.

Все же значительную часть своего времени Милевский посвятил портретному жанру. Посетителями фотографического заведения на углу Ланинской и Медведниковской улиц (дом Ермолина) во второй половине 80-х годов XIX века был Н. М. Ядринцев, генерал-губернатор Восточной Сибири, граф А. Н. Игнатьев. В конце 80-х годов Милевский принимает заказчиков на улице Большой, на втором этаже двухэтажного бревенчатого дома рядом с казенной палатой. Этот дом снесен в начале XX века. В 1901 году фотограф выбыл из членов Восточно-Сибирского отдела. В том же году в газетах появляются объявления о продаже дома, имущества Милевского «в связи с отъездом». Выехал ли фотограф на родину в Польшу или отправился с семьей в другой город России, об этом пока неизвестно. Но несомненно, что в любом другом месте этот замечательный фотомастер мог оставить свой след, который в будущем мы надеемся отыскать.

Многие годы памятники архитектуры города Иркутска реставрируются по фотографиям Петра Милевского, чье имя не должно остаться лишь на клише изготовленных им фотографий.

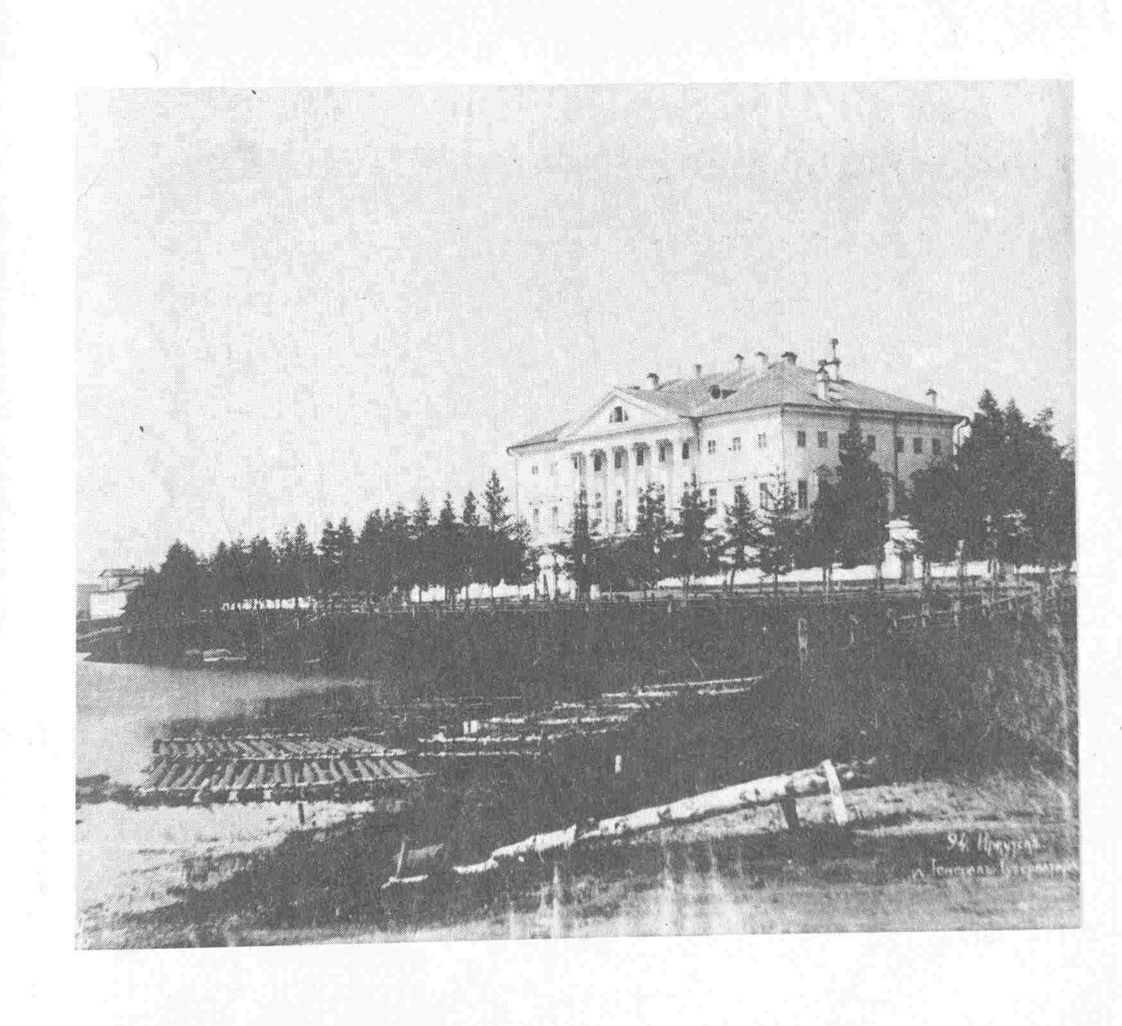
В. Мирович

Составитель В. В. Козлов
Редактор О. Е. Арбатская.
Художественный редактор В. А. Лужков
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректоры А. С. Лысенко,
С. Г. Калмыкова

Адреса редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, г. Чита, ул. Богомягкова, 23. Союз писателей, тел. 3-45-78.

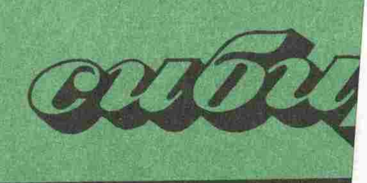
ИБ № 1564
Сдано в набор 9.03.89.
Подписано в печать 14.06.89.
НЕ 01243.
Формат 70×90¹/₁₆.
Бумага офсетная № 2 кн.-журн.
Усл. печ. л. 9,94 (с вкл.).
Уч.-изд. л. 12,68 (с вкл.).
Усл. кр.-отт. 10,38
Тираж 12 000 экз.
Заказ 1639.
Изд. № 6308.
Цена 70 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда». 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.



Дом генерал-губернатора на ул. Набережной, 1890 г.

70 к.





Иркутск, Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1989